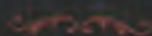


8
215709



РАССКАЗЫ
О СТАРОМ
САРАТОВЕ

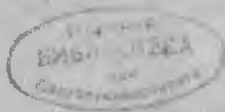


215709
М. А. ВОРОНОВ, С. А. МАКАШИН

РАССКАЗЫ О СТАРОМ САРАТОВЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ

В. А. СУШИЦКОГО



САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ 1937

АННОТАЦИЯ

В сборник произведений писателей-саратовцев М. А. Воронова и С. А. Макашина включены рассказы, наиболее ярко рисующие жизнь и быт саратовской бедноты, мещанства, мелких чиновников и крепкого купечества в первой половине XIX века. Произведения, включенные в сборник, печатались в 1859—1872 гг. в журналах „Современник“, „Время“ и др. В Саратове издаются впервые.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказы М. А. Воронова и С. А. Макашина рисуют нам жизнь людей большого провинциального города в эпоху николаевской реакции, в годы расцвета самодержавия.

Возникновение промышленного капитализма, проникновение капиталистических отношений во все поры господствующей крепостническо-феодальной системы уже ставили на повестку дня вопрос об отмене крепостного права, о реформе суда и т. д., о ликвидации тормозов на пути развития капитализма.

Крымская война 1854—55 гг. обнаружила полное бессилие некогда грозного жандарма Европы — Николая I, показала, что самодержавная Россия — колосс на глиняных ногах и ярко продемонстрировала банкротство феодально-крепостнической системы, ее разложение.

Но в 40-х и начале 50-х гг. быт николаевской России еще казался неизменным. Пред читателем рассказов Воронова и Макашина проходит жизнь нашего города в эти внешние-застойные годы.

И Воронов и Макашин — типичные писатели разночинцы, близкие друг к другу по мировоззрению, но различные по степени культурности и таланта. Один — сын выслужившегося из солдат офицера, человека грубого и жестокого, деспота в домашнем быту, но все же стремившегося идти за духом времени и дать детям образование и увенчанного в этом; другой — сын мелкого чиновника, подавленного невыходной нуждой, самоучкой выбивается в люди.

Первый кончил гимназию, поехал в университет, вращался в детские годы в среде низших и средних слоев общества; учеба второго ограничилась „домашними“ учителями, с отроческих лет он стал писцом в канцелярии и наблюдал жизнь низших слоев населения и купечества. Но и тот и другой проходят суровую школу беспредельной жизни, оба они в лучшие годы своей творческой работы терпят нужду, еще совсем молодыми людьми их настигает смерть: один умирает от голодного тифа, другой — от горловой чахотки.

В своих автобиографических произведениях Воронов рассказывает нам про свое детство, проведенное среди заключенных тюрьмы (отец его был в это время начальником острога) и отрочество, прошедшее среди кучеров, пожарных, сверстников по улице и в стенах гимназии. Этот отроческий период в жизни будущего писателя надо относить к тому времени, когда Вороновы переселились на Большую Сергиевскую, теперь Чернышевскую, между Гимназической и Бабушкиным взвозом, в соседстве с пожарной командой, начальником которой был назначен глава семьи.

Та полоса, которая спускается к Волге вдоль Гимназического взвоза, была двором двух семей — Чернышевских и Пыпиных. Вороновы же жили ближе к Бабушкину взвозу. В культурном отношении эти семьи (первые две и последняя) далеко отстояли друг от друга. Достаточно сказать, что отец Чернышевского был не только священником, но и домашним учителем детей саратовского дворянства и купечества, испытывал на себе воздействие этого светского общества. В библиотеке отца Чернышевский находил не только жития святых, но и сочинения величайших писателей русского народа: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Белинского. Он уже в Саратове по статьям Герцена знакомится с идеями утопического социализма.

Воронов, бывший на 12 лет моложе Чернышевского, довольствуется в лучшем случае романами таких мракобесов, как Булгария и Зотов. Отец Воронова сам — человек малограмотный, выученик армии „Николая Палкина“, в розгах видел главный залог успехов обучения своих детей. Он не только непрерывно сам сечет своих четырех сыновей, но и инспектора гимназии подражает на это дело. Впрочем, „заботы“ отца были напрасны. В гимназии сечение также ложилось в основу воспитания и достижения успехов в познании наук.¹

Перед читателем проходит целая галлерея типов домашних учителей и учителей дореформенной школы. Это в подавляющем боль-

¹ Интересный материал для сопоставления дают воспоминания Ивана Воронова (брата нашего автора), напечатанные в „Русской старине“ (1909, № 8, стр. 331–356) и воспоминания В. Дурасова в „Сарат. дневнике“ (1886, №№ 21, 24, 30 и 37), а также очерк П. Чернышева — „Из прошлого Сарат. гимназии“ — напечатанный в „Трудах Сарат. ученой архивной комиссии“ (В. 27, 1911 г.).

шинство педагогов в кавычках, педагоги, которые могут приносить преимущественно вред своим воспитанникам. Сравнение тех образцов учителей, которые даны Вороновым, с их прототипами, показывает со всей убедительностью, что он не сгущал краски (были такого рода обвинения по его адресу), а наоборот, многое не договаривал.

Досуг Чернышевского-семинариста уходил на игры, а еще больше — на чтение книг из библиотеки отца, книг, запрещенных семинарским начальством (речь идет о сочинениях Пушкина и др.). Для Воронова с братьями единственный выход из гнетущей атмосферы домашней тюрьмы и непрерывных наказаний был в озорстве и в просторах Волги.

В гимназии, где к домашнему гнету присоединился еще гнет школьной дисциплины и зубрежки, он с товарищами жадно устремляется к Чернышевскому, который в качестве учителя появился в стенах саратовской гимназии в начале 50-х гг. Новый преподаватель ничем не походил на большинство своих сослуживцев: кретинов, жуликов, пладачей и просто опустившихся людей. Он отказывается от существовавшей системы физических наказаний, открыто высказывается против нее; он не заставляет зубрить уроки от „сих до сих“, а объясняет задаваемое; он устраивает собеседования, дает assignments на интересные темы.

Чернышевский выходит за рамки учебных программ. Как-то раз, например, он в классе рассказывает о заседании конвента.¹ Это ведет к неприятным объяснениям с директором гимназии А. Мейером, которому и до этого постоянно жаловались на нововведения молодого педагога многие учителя, привыкшие к рутине. Работа Чернышевского в гимназии продолжалась всего несколько лет и привлекла к нему живейшие симпатии подавляющего большинства гимназистов.²

В рассказах Макашина мы находим изображение жизни городской бедноты, тружеников-чернорабочих, которые ютятся в Глебовом

¹ Собрание народных представителей в период Великой французской революции.

² См. „Дневник Чернышевского за саратовский период его жизни“ („Литературное наследие“ т. I, 1928 г. и отд. издание Об-ва политкаторжан в 1930 г.) и воспоминания Е. Белова, напечатанные в „Известиях Нижне-Волжского института краеведения“, т. IV, 1931 г. Саратов.

овраге в жалких хибарках, над которыми постоянно висит угроза голода и угроза попасть в „рабочий дом“ на вечные каторжные работы, пустив семью по миру. Макашин ярко и сочно рисует нам биографии саратовских купцов, их методы обогащения.

Один из этих будущих именитых купцов начинает свою карьеру со скромного по своим результатам ограбления тетки, затем умножает свой капитал с помощью фальшивомонетчиков, сбывая их продукцию на Макарьевской ярмарке, затем он рвется к месту городского головы, к власти, ибо это новое положение даст ему возможность за счет города стать еще богаче.

Другой будущий купец-воротила—начинает с поджога, чтобы замести следы ограбления им хозяина. Третий, будучи приказчиком, обольщает некрасивую дочь хозяина, приводит его этим в гнев, но и покоряет одновременно его сердце способностью обойти ни кого-нибудь, а его самого, прожженного жулика, которому приказчик оказался в состоянии „смело“ врать прямо в глаза, без тени смущения. Уголовным путем идет и следующий герой к получению громадных прибылей. Он через агентуру, работающую по всей России, скупает звонкую монету старинной чеканки и большого веса, чтобы спекулировать ею за пределами государства. Мало чем отличается от „чистого“ купечества и почтмейстер, чиновник-коммерсант, с помощью взяток и подрядов наживающий себе состояние.

Конечно, в создании образов этой купеческой галереи не обошлось без художественного вымысла, но многое Макашин передает с документальной точностью. Сравните, например, героя Макашина—Степана Степановича Подметкина—с его прототипом Львом Степановичем Масленниковым, неоднократно избиравшимся в Саратове на место городского головы.

Масленников был выходец из Рязанской губернии (в центральных губерниях старообрядцам приходилось туго), человек умный и ловкий. „Саратовская летопись“, сообщающая о его благотворительных делах (на них мы остановимся ниже) не могла скрыть, что „темные стороны его жизни не составляли в свое время ни для кого тайны“. Не составляли они тайны и в то время, добавим мы от себя, когда писалась „Летопись“, и память о Масленникове была еще жива¹.

¹ Напечатана в сборнике „Саратовский край“. В. I. Сар. 1893, стр. 75.

Из своей принадлежности к старообрядчеству Масленников сумел извлечь для себя немало пользы. Являясь одним из вожаков гонимой веры, он имел в широких слоях старообрядцев ту прочную базу, на которую можно было опереться в своих торговых делах и в значительной степени на выборах.

Историк местного старообрядчества сообщает: „В Саратове... уже существовала „горбуновская церковь“, но преосвященный Иаков знал, как глядят старообрядцы на коммерции советника Горбунова (не он ли послужил Макашину прототипом Стобитова? В. С.) с его малым стадом; он слышал их отзывы, что Горбунов принял единоверие „любоchestия ради“, чтобы быть городским головой и увешать грудь орденами на разных лентах. Пример Горбунова не мог не соблазнить многих. Преосвященный взялся за А. И. Уфимцева, стоявшего в это время во главе саратовского старообрядческого общества.

Может быть, из этого ничего не вышло бы, если бы за спиной Уфимцева не стоял нарождавшийся в это время „оракул“ саратовских старообрядцев—купец Л. С. Масленников. Под влиянием этого ловкого и честолюбивого человека, которому старообрядчество до известной степени связывало крылья, Уфимцев задумал замаскировать раскол единоверием и вступил в переговоры с преосвященным Иаковом“¹. Долго шел торг, в котором обе стороны стремились надуть друг друга.

Единоверие дало возможность Масленникову выставить свою кандидатуру в городские головы. Одновременно, однако, он распротраняет с помощью доверенных лиц слух, что единоверие принято им лишь в целях защиты интересов преследуемой веры, в интересах широких слоев старообрядцев.

Масленников ловко играл не только на принадлежности к старообрядчеству и мнимом присоединении к единоверию, но он „по-хозяйски“ извлекал пользу и из благотворительности.

Еще Ф. Духовников, краевед-историк, писал, что Масленников „желая заслужить уважение и любовь к себе в мещанах, от которых, главным образом, вследствие их значительного численного перевеса

¹ Н. С. Соколов. Раскол в Саратовском крае. Опыт исследования по неизданным материалам. Т. I. Поповщина до пятидесятих годов настоящего столетия. Саратов. 1888, стр. 442.

на городских выборах в дореформенное время, зависел выбор в городские головы (должность, сопряженная в былое время для некоторых лиц с большими доходами)... он давал (мещанам) одежду, муку, хлеб, лес для постройки, целые срубы и пр."¹ Масленников и принадлежал к числу тех „некоторых“, о которых так деликатно выражается Духовников. Потратив до 15 тысяч рублей на застройку так называемой „Стрелки“, ² он мог по собственному произволу несколько трехлетий ворочать хозяйством богатого города, с лихвой вознаграждая себя за „заботы“ о бедноте.

В поле зрения Макашина не попали фабричные рабочие, хотя промышленные предприятия уже были тогда в нашем городе, правда, нося преимущественно полукустарный характер. Но в одном из рассказов проскользнули сведения, поднимающие завесу над вопросом об эксплуатации труда малолетних. Чернорабочий Окошкин, задавленный нуждой, сожалеет, что его старший сын еще слишком мал, чтобы стать помощником отцу, что его еще нельзя, „закабалить лет на шесть за какие нибудь двести пятьдесят рублей ассигнациями“, т. е. получать за труд мальчика ежегодно по 12 рублей.

Рассказы Воронова и Макашина, хотя не рисуют жизнь местного пролетариата, еще только зарождающегося, хотя они совершенно не показывают крупное дворянство и бюрократически-административные верхи общества (те и другие, кстати говоря, в нашем городе не представляли каких-либо интересных особенностей), но зато эти рассказы дают яркое представление о саратовском крепком купечестве, формирующемся разночинстве (вспомним, что Саратов дал Чернышевского, Ир. Введенского, Г. Благодетельского, А. Пыпина и др.), широкой мещанской среде, мелком и среднем чиновничестве, наконец, о городской бедноте.

¹ К истории топографии Саратова. Саратовский край. В.І Саратов. 1893, стр. 133—134.

² „Стрелка“ или Масленниковы выселки — это район „на горах“, приблизительно расположенный между улицами Камышинской и М. Горького, Глебовым оврагом и Горной улицей. Сюда переселялись с Миллионной ул. и Бабушкина взвоза, где полиция в целях внешнего декорама выживала бедноту, запрещая ей подправлять свои ветхие лачуги. (Там же, стр. 133).

Вполне понятно, что саратовские историки и библиографы с давних времен неизменно указывали на произведения Воронова и Макашина, как на один из источников для познания прошлого нашего города.¹ На Воронова, много печатавшегося и переиздававшегося в 60—70 гг., но игнорировавшегося реакционной и либеральной критикой, обратила внимание наша современность. Часть его рассказов вошла в одготомник ГИХЛ'а, в котором было собрано то лучшее, что дала в беллетристике эпоха Чернышевского.² К. И. Чуковский, один из крупнейших детских писателей нашего времени, переработал автобиографические рассказы Воронова для детей, выпустив их под названием „Хуже собаки“ (два издания).³

Макашин, правда, не переиздавался, но и он заслуживает этого. Самоучка-писатель, примыкавший к группе „Современника“ и печатавшийся в этом органе революционной демократии, он смело разоблачал язвы саратовского „темного царства“.

Пришло время увидеть рассказы Макашина, как и рассказы Воронова, изданными на родине.

¹ См., например, Н. Хованский. Очерк по истории г. Саратова и Саратовской губернии. В. I. Саратов. 1884 г., стр. 7—8.

² Шестидесятники Избранные произведения. М.—Л. 1933, стр. 220—260, 432—433 (примечания к рассказам), 443 (Библиографический список сочинений).

³ Первое издание—„Молодая гвардия“. 1932 г.; второе—ЦК ВЛКСМ Изд-во детской литературы. М.—Л. 1936 г.



Общий вид Саратова середины XIX века. С рис. с натуры Беркмейстер.
(Худ. музей им. Радищева).

МОЕ ДЕТСТВО

Из одних записок

Родился я в пустыне полудикой,
Я рос меж буйных дикарей,
И мне судьба, по милости великой,
Дала в руководители псарей.

Н. Некрасов ¹

I

Родился я в 18... году, августа 1-го. Так гласит календарь, на страницах которого мой отец имел обыкновение делать всевозможные заметки и искать все свои мысли и чувства. Развернув толстую, замасленную книгу на стр. 79, я увидел целый ряд иероглифов, который, по толкованию людей сведущих, означал:

„Четыре часа вечера. Погода хорошая — дождик моросит. Мать (так называл отец свою жену, мою матушку) родила сына, имя: Михаил. Именины его будут праздноваться вместе с другим Михаилом — старшим“.

Затем следовала выписка из календаря, в таком роде:

„Родившийся под влиянием планеты Сатурн, бывает храбр и мужествен, инде зол и вспыльчив, инде добр и мягкосердечен; при умеренной жизни доживает до 85-ти лет. Родившийся в хорошую погоду — сангвиник, в дур-

¹. Начало стихотворения Некрасова приведено неточно. Следует читать так:

В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей*.

ную — флегматик или меланхолик (зри: календарь, стр. 476)“.

Иероглифы продолжались еще несколько строк, но никто до сих пор, кроме стоящего в середине фразы слова „шельма“, ничего не мог разобрать. Подобными иероглифами был испещрен весь календарь, потому что мать моя, женщина тихая и добрая, дарила отцу аккуратно каждый год по ребенку, а иногда даже и сокращала этот срок. Впоследствии, из рассказов матери, я узнал, что я родился мертвым, так что бабушка, принимавшая меня, пророчила, что я не жилец на этом свете. Что было со мною дальше: как я рос — ничего не помню ясно до самого переезда отца с места моей родины из юго-восточных губерний, где отец мой поступил в гражданскую службу (прежде он служил в военной).

Вот наше родословное дерево. За краткость сведений прошу извинить.

Дед мой, как я узнал стороною, был гороховецкий крестьянин (Владимирской губернии). Отец сам не любил рассказывать о своем первобытном звании и о своих родных. „Дети болтливы, говаривал он: — пойдут толковать да рассказывать, а там, чего доброго, откажутся от всего, и от отца и от родных: они, дескать, мужики...“ Матушка, впоследствии, говорила мне, что дед был человек богатый и мог бы нанять вместо отца охотника, но отец сам пожелал идти в военную службу. Службу свою отец начал и окончил в кавалерии, прослужил царю и отечеству, верою и правдою, тридцать лет. „Я до сорока пяти лет был необразованным человеком, — часто говорил он нам в поучение, — а всегда был на виду у начальства и считался добрым служакой. Да, если бы не Герасимов, — обыкновенно прибавлял он, — может быть до сих пор так и оставался бы необразованным“. В самом деле, Герасимов (какой-то военный писарь) оказал отцу великую услугу: он научил его читать русские книги (до той поры отец читал только церковно-славянские), научил его даже излагать свои мысли начерта-

тельно, посредством иероглифов, и может быть научил бы еще многому, если бы офицерский чин, а за ним женитьба не отбили в нем охоты к дальнейшему образованию. Кто были мой дед и бабка по матери, не могу сказать. Помню только, что раз один из моих братьев, ласкаясь к матери, наивно спросил ее: „кто был ваш пансенька?“ Услыхавши такой вопрос, отец резко закричал любопытному: „Как! ты не знаешь кто были Симеон и Ирина!“ Несчастный вздрогнул и замолк. „Ты не знаешь, — продолжал отец тем же тоном, — кто были Симеон и Ирина, записанные в поминальной книжке?...“ „Дедушка и бабушка“... — со слезами отвечал любопытный. „Ну, так чего же спрашиваешь?“ — заметил отец, опуская глаза на лежавшую перед ним псалтирь.

Получивши первый офицерский чин и женившись, отец еще с большим рвением принялся за службу и прослужил до штабс-капитанского чина с честью и славой. „Тут пошли новые порядки, — говорил обыкновенно он — ученых начали везде набирать; пошли эти экзамены разные... ну, и вышел в отставку: вижу, ничего не добьешься“... Строевой службой отец мало занимался, вся его деятельность поглощалась обучением лошадей, ремонтированием и фуражировкой. Общество его состояло, по преимуществу из людей, подобно ему добившихся офицерского чина потом и кровью. „У благородных да у разных экзаменованных одно на уме, как бы посмеяться да подшутить над тобою, простым человеком, а свой брат, дослужившийся, не возгордится... нечем“... — твердил отец. Вышедши в отставку, отец мой уехал на юг России управлять имением,¹ где и прожил шесть лет в обществе татарского мурзы, большого знатока вина (вероятно служителям корана разрешается знать вкус в вине), постоянно пьяного лекаря, отставного гусарского поручика и приходского священника, любившего верховую езду. Скучная, бесцветная, а под-

¹ Отец Воронова упраздл имением генерала Шатова в Крыму.

час и грязная жизнь, общество, стоявшее гораздо ниже моего отца, умевшего, по крайней мере, вести разговор о войне и вине,—все это не давало моему отцу равно никакой возможности выйти из положения полкового вахмистра, понять, что жизнь и потребности семейства стоят несколько выше потребностей конюшенной прислуги и полковых лошадей. На службе отец не успел увидеть порядочной семейной жизни, а вышедши в отставку, он увидел ее в таком виде, что, как человек неглупый, сразу понял превосходство прежней, казарменной, забитой дисциплиною и служебными обязанностями. Грубое, тяжелое обхождение с подчиненными отец перенес в семейство, вовсе не думая о том, уместно оно или нет... Отсюда начинается требование полного подчинения от своей жены, грубое обращение с детьми, которых он судил по военному, и наконец, вследствие всего этого, совершенный разлад в семействе, члены которого так и рвутся в разные стороны, лишь бы представилась малейшая возможность к тому. Связанные с семьей одними только преданиями о рождении и непременном условии держаться исключительно ее, они стараются быть по возможности реже в ней—так противен им деспотизм и тяжелое обращение отца!

Проживши шесть лет управляющим, отец решился испробовать счастья в гражданской службе, надеясь получить теплое местечко; притом скучная, вечно будничная жизнь управляющего видимо наскучила ему. Не долго думая, купил он фургон, в который легко было запихать всю семью, и отправился искать счастья в один из юго-восточных губернских городов¹. По дороге, как рассказывала мне матушка, заезжали в Воронеж, а оттуда двинулись дальше. По приезде отец стал усердно хлопотать о месте, ссылаясь на бедность и многочисленное семейство и особенно напирая на множество сыновей,

¹ И. Воронов, брат автора, вспоминает: „Отец выбрал дешевое и хлебное место на Волге — г. Саратов, куда и переехал со всеми домохозяевами в 1843 году“.

„которые (писалось в прошениях) готовы хоть сейчас сделаться усердными слугами царю и отечеству“ (старшему сыну было лет одиннадцать). Поиски увенчались полным успехом: открылось место смотрителя тюремного замка, и отец получил его. Нужно заметить, что прежде всего этого, тотчас по прибытии на место, был куплен дом, устройством которого отец мой занимался около года; переезжая в тюремный замок, на казенную квартиру, отец сдал его.

Воспоминания мои, как видно теперь, могут начаться только с этого времени, потому что только с поступлением моего отца в смотрители острога, я начинаю помнить себя ясно и определенно; вся же предыдущая жизнь моя рисуется как бы в тумане, и нет ни одного события, которое запечатлелось бы в моей памяти так отчетливо и верно, как все приведенные ниже.

Тюремный замок¹, смотрителем которого был назначен мой отец, помещался близ заставы, на самом конце города. Он считался самым большим зданием в городе и вмещал в себя более восьмисот арестантов, хотя выстроен был только для двухсот. Каким образом помещались в нем остальные шестьсот человек, до сих пор не могу объяснить себе... Помню только, что в некоторых камерах сидело человек по семидесяти, между тем как в такой комнате с трудом могли бы поместиться человек тридцать. В самую жестокую зиму, в такие камеры вставлены одни только зимние рамы, то есть вторые, — о существовании летних не было и помину... Замок имел при себе три двора: два передних, обнесенных высокою стеною, и один задний, окруженный валом и рвом. На первом переднем дворе помещалась кухня и огороженное высоким забором место, на которое выпускали арестантов прогуливаться; на втором же смотритель в

¹ Речь идет о так называемой старой тюрьме, здание которой после революции было перестроено (уг. Ленинской и Камышинской). В нем теперь помещается Сар. трудовая колония НКВД для несовершеннолетних.

укрепленном доме с железными решетками; тут же помещались арестантская баня, прачечная и дейхгауз. Женщины и пересыльные арестанты помещались в особых флигелях, выходивших окнами на первый двор. На заднем дворе находились погреба, колодезь, конюшни для рабочих лошадей и огороды для посева различных овощей.

В первые дни после нашего переезда отец был сильно занят приемом новой должности, почему дома бывал очень редко, и то не надолго. Недели через три, когда все совершенно устроилось, он стал поговаривать о необходимости учить нас; помощником себе в этом деле он выбрал одного из арестантов, дворянина, посаженного в острог „за обман и мошенство“, как гласила реестровая книга. Новый учитель был высокого роста, широкоплечий, рябой и с разорванною ноздрею; он с первого же раза навел ужас на меня, двоих братьев и сестру, обреченных на жертву науке. Пылкое детское воображение сейчас представляло себе этого варвара с нагайкою в руке, и глаза невольно застилались слезами при виде такого чудовища.

Отец, как теперь помню, сидел на диване в своем кабинете, куда позвали и нас; будущий учитель стоял у двери, вытянувши руки по швам и уставя глаза на отца, который говорил ему что-то. Разговор прекратился тотчас, как вошли мы.

— Вот вам учитель, — сказал отец.

Учитель посмотрел на нас, мы — на него.

— Теперь уж не я буду вас сечь, а он, вот и плеть отдам ему, — и отец отдал учителю нагайку.

— А вы-то как же? — робко спросил учитель.

— Не беспокойтесь, у меня есть другая, я себя не обижу, — возразил отец.

— Они меня, надеюсь, и без этого будут слушать, — робко заметил учитель, переминаясь на месте, и положил нагайку на стул.

— Нет, нет, возьмите; с ними без этого не обойдетесь: они уж так приучены, — перебил его отец.

Учитель взял нагайку и начал раскланиваться.

— Так вы будете учить их в комнате около церкви; об успехах каждый день говорите мне, а чистописанье приходите показывать вместе с ними.

Учитель еще раз поклонился и вышел.

На другой день мы отправились вместе с отцом в назначенную для нас комнату, куда позвали и учителя; но вместо одного явилось вдруг двое: бывший частный пристав, посаженный в острог за выпуск арестантов из своей части на разбой¹, взялся преподавать нам арифметику и грамматику, уверяя, что он знает секрет самого скорого изучения этих наук.

— Молитесь! — провозгласил отец, когда вошли учителя.

Мы начали креститься.

— Ну, теперь, с богом, начинайте!

Мы разместились в следующем порядке: два брата, на одной стороне стола, подле арестанта, посаженного „за обман и мошенство“; я и сестра одесную и ошую пристава, выпускавшего разбойников, на другой стороне; отец на третьей.

Нужно заметить, что каждый из нас знал даже писать, а читали мы довольно бойко.

Содержавшийся „за обман и мошенство“ и его ученики сразу поняли друг друга и занялись сперва чтением, потом изображением арифметических знаков и, наконец, письмом; но пристав, выпускавший разбойников, никак не мог объяснить нам, что в грамматике главное — предложение и его части: подлежащее, сказуемое, связь, определительные и дополнительные слова, хотя и подкреплял свои доводы с одной стороны авторитетом Греча,²

¹ Совместная „деятельность“ грабителей и саратовской полиции типична для того времени. Об этом рассказывают Чернышевский в своей „Автобиографии“ и др. мемуаристы более раннего времени (например, Пшчевич).

² Греч, Н. И. (1787—1867) — реакционный беллетрист и историк литературы, сподвижник Булгарина. В 1828 г. вышли его „Начальные правила русской грамматики“.

с другой—угрозой наказания, которому должны подвергнуться бестолковые дети. Сестра и я толковали сквозь слезы „связь“, „подлежащее“, „сказуемое“, но ровно ничего не понимали. Видя, что предложение и его части остаются непонятными, пристав начал толковать об употреблении строчных и прописных букв, на что отец заметил ему, что дослужился до штабс-капитанского чина, а фамилию свою пишет со строчной буквы, следовательно, для детей это совершенно не нужно.

— Лишь бы писали четко да красиво, да бойко читали, да арифметику знали, потому что счета не всегда под руками, а уж эти мудрости не для них,— заметил отец.

Пристав уступил.

Началось объяснение арифметики и ее тайн, причем, сделан был легкий намек на то, что извлечение корней не такая трудная вещь, как предполагают многие: что стоит только делить и помножать, делить и помножать, отчасти складывать и вычитать, и таким образом исчерпывается вся премудрость. Не знаю, как сестра, но у меня забегали мурашки вдоль спины, когда грифель, визжа и свистя, изобразил на доске число с крючком на верху. „Господи! господа! — подумал я, — вот столько нагаяк придется получить, прежде чем извлечешь хоть половину такого корня!“

До сих пор не понимаю, зачем ему непременно хотелось учить нас корням, когда мы и четырех правил хорошенько не знали. Это он все отцу пыль в глаза пускал.

— Понимаете?— спросил нас пристав.

— Понимаем, — жалобно произнесла сестра, но так скоро, что я успел проговорить с ней только последний слог.

Дальше рассказывалось нам о дробях, именованных числах, пропорциях, отношениях и проч., причем пристав каждую такую штуку изображал на доске, а отец с любопытством произносил: „а ну-ка, дайте я взгляну“.

Часа два. тянулся урок; наконец, отец торжественно произнес: „довольно“. Он был весьма доволен нашими

решениями, почему после новой молитвы, с улыбкой заметил, обращаясь к нам: „да, хорошо-то оно, хорошо... только много еще придется вас сечь, пока выучитесь“...

На крыльце нас встретила матушка и очень осталась довольна, когда узнала, что никто из нас не был наказан. Вечером нас засадили учить уроки; хотя мне и сестре не было их задано, но отец настаивал, чтобы мы повторили о корнях, и даже сам пытался изобразить что-нибудь подобное, по замечанию няни, „нацарапал только хвост ведьмы“.

Следующий урок был на другой день. Пристав, выпустивший арестантов на разбой, не явился, и мы, все четверо, остались на руках посаженного „за обман и мошенство“, который оказался добрейшим и смирнейшим существом. Отец явился в середине урока, спросил, как мы учимся и, получив удовлетворительный ответ, ушел. Занятия наши с учителем ограничивались „Начатками христианского учения“, арифметикой, десятью первыми страничками бестолковой грамматики Греча и чистописанием,—дальше этого мы не заблагорассудили двинуться. Учитель наш, несмотря на свою отвратительную физиономию, отлично писал; так что даже отец приходил в восторг от его почерка.

— Как, каналья, ловко пишет!— говорил отец.— Хоть бы и не этакой роже, так и то дай бог так писать!— приговаривал он.

Каждый день, вместе с учителем, мы отправлялись в арестор, к отцу, показать свои тетрадки, причем он делал различные заметки, вроде следующих: „у кого это так пузо выпятило?“ или „отчего ты, Ваня, не старался ставить буквы в шеренгу?“ или „кто это и написал?— это ногой написано...“ Раз учитель, желая разукрасить мою тетрадь, сделал на обертке ее надпись: „своя тетрадь“ и т. д.; причем букву с откаллиграфировал на славу. Когда пришли мы показывать свои произведения отцу, он с гневом спросил меня: „это ты сам так испортил свою тетрадь?“. Я сказал, что это сделал

учитель. „Мальчишке только позволительно делать такие глупости!“ — резко заметил отец. „Это каллиграфия... — скромно заметил учитель. „Не каллиграфия, а дурной пример... Вы хотите учить моих детей чорт знает чему!“ — и отец бросил тетрадь на пол.

Так тянулось время нашего учения, скучно и однообразно. Нередко отец, соскучившись такою монотонностью, допрашивал учителя: „хорошо ли они учатся? не шалят ли? Вы скажите, ради бога, — прибавлял он, — не скрывайте от меня, ведь я им отец... Ведь вы сами знаете, что скрывать этого нельзя: хорошо, так хорошо; дурно — нужно сечь, нечего делать...“ — Они хорошо себя ведут, ей-богу, хорошо! — божился учитель.

— То-то, хорошо ли? — недоверчиво и с грустью твердил отец. Он никак не мог представить себе, чтобы дети, приученные к нагайке, могли обойтись без нее.

Вот и лето прошло. Наступившая осень памятна для меня по двум замечательным событиям, которые спешу передать; первое — знакомство с заплочным мастером (палачом), второе — ночное посещение караульной, в которой наказывали буяна-арестанта.

Мы только что возвратились с уроков, которых, нужно заметить, было два: утренний и вечерний, как нянька, бегавшая неизвестно зачем на арестантскую кухню, сообщила нам, что заплочный мастер „лопает“ там говядину. Младший мой брат и я тотчас побежали посмотреть на лопающего палача. Следующее зрелище представило нашим невинным, детским глазам:

В огромной, закопченной комнате с кирпичным полом, с громадной русской печью посредине, столами и лавками по стенам, толпилось человек десять у одного из окон. На подоконнике сидел широкоплечий мужчина лет 35, с черною бородою и черными курчавыми волосами, в красной рубашке и синем жилете с металлическими пуговицами. Перед ним стояла деревянная чашка с кусками вареной говядины; ломоть хлеба, отрезанный во весь каравай, с кучкой соли на стороне, лежал на



Саратовская тюрьма. Вид со двора.
(Сар. обл. музей).

мешке из толстой холстины, помещавшемся на его коленях. Запечный мастер (это был он) быстро уничтожал лежавшую перед ним провизию, посылая в рот огромные куски хлеба и мяса. Завтрак подходил к концу, как из толпы выделился коренастый арестант, лет 25, с клинообразною бородкою и плутоватыми серыми, узенькими глазками, вертлявый и веселый, и между ним и палачом произошел следующий разговор.

— Так, как же твой Николашка? — спросил арестант палача.

— Дрянь, Николашка! одно слово: ученик! — отвечал тот, отправляя в рот малую толику говядины.

— А он из себя-то видный... — заметил арестант.

— Елова твоя голова! — с упреком отозвался палач. — Я ничего не говорю о том, что из себя-то он видный, а я говорю, что дело свое плохо знает: в кой-то еще веки сделается мастером, — ученик, одно слово! — и палач снова наколотил рот говядиной.

— Да ведь это дело немудреное; долго ли научиться, — заметил парень; он видимо старался досадить палачу противоречиями.

— Ну-ка ты, шустрый, язвительно вскрикнул палач, ну, на вот кнут: убей человека с трех раз...

Арестант замялся. Такое милое предложение смутило его...

— С десяти не убьешь... — важно продолжал палач.

— А ты убьешь с трех? — спросил кто-то из толпы.

— Не хъшь ли? ложись, попробую, — отвечал палач, обращаясь к любопытному.

Раздался общий смех.

— Да чего тут с вами рассуждать... Дай вон кружок с кадки!

Арестант с плутоватыми глазами отправился за кружком, а палач слез с окна, и, взявши с коленей мешок, достал из него кнут.

— Клади кружок вот здесь! — палач указал на середину комнаты.

— Постой, я тебе задачу задам, сказал арестант, проводя углем черту на кружке. — Вот, попади три раза по одному месту.

— Велика задача... — с улыбкой заметил палач. — Смотри, ребята! — палач обратился к толпе: — попаду три раза по одному месту, не глядя, — он отвернулся.

Раздался свист кнута, и черта вдавилась в кружок. Палач снова отвернулся в сторону, снова ударил — черта вошла еще глубже; за вторым — третий, и на кружке осталась глубокая борозда.

Всё бросились к кружку и начали измерять глубину борозды.

— Вот у тебя на спине этаких канав нароют, — заме-

тил с улыбкой один арестант другому, сморщенному, сухому старичку, лет 55.

— Да, повыпрямлю спину-то, — торжественно изрек палач, довольный произведенным впечатлением. — А что, разве конфирмация пришла? — спросил он старичка.

— Да, бают 35 ударов, — грустно ответил тот.

— 35, ничего... У меня 35 бабы вылеживают, — холодно-кровно заметил палач. — Нет нынче я, братцы, как-то милостив стал: бьешь — не бьешь, как ровно руки не владеют. Лет пяток тому назад — ну, тогда занимался своим делом, а теперь охоты нет.

— А вот Николашку коришь, что плох, — опять заметил арестант.

— Смешной ты человек! Николашка должен быть прилежен к этому делу опять потому же, что ученик; должен доподлинно разузнать все, — а то какой же из него мастер выйдет?

— Вот, глянь-ка. смотрителивы щенки там подслушивают, — шепнул кто-то, указывая на нас.

— А подай ка мне их сюда да положи на кружок, я маленько попарю их! — крикнул палач, обращаясь к нам.

Мы стремглав бросились в дверь и, едва переводя дух, пустились бежать домой.

— Куда это вы бегали? — спросила нас няня.

— Палача посмотрели, — отвечали мы.

— Ах вы, дети, дети! Вы и не знаете, какой вы принимаете грех на свои душеньки: ведь он от отца, от матери отказывается, на него и смотреть-то грех!

Но мы нимало этим не смутились, и после, припоминая виденное нами, сильно тужили, что не имеем такой силы, — а то бы в палачи пошли. Брат прибавлял при этом, что своего учителя он бы легко наказал, а кучера, Сергеича, который не хочет покатаь верхом, высек бы больно пребольно.

Впоследствии я имел случай лично познакомиться с этим самым заплочным мастером и от него узнал все подробности наказания.

— А клеймите вы как? — спросил я его, узнав, что они же накладывают клейма.

— Это дело нехитрое, — отвечал палач. — В праву щеку како, в лоб живете, в леву рды, — вот и готов человек!.. Впрочем, — прибавлял он, — вы'пожалуйте к нам на площадь, когда наказание будет, так и увидите все: это дело стоит посмотреть.¹

Прошло недели две после рассказанного мною события. Раз, поздно вечером, мы сидели в кабинете отца целой семьей. Отец, оседлав свой нос большими серебряными очками, читал нам житие св. Кирики и Улиты. Вдруг вбежал в комнату солдат и с ужасом объявил:

— Куров буянит, ваше благородие! Дверь вышиб.

— Опять... — проворчал отец и начал натягивать сюртук.

— Пойдем со мной, — сказал он, обращаясь ко мне.

— Не стоило бы ребенка водить на такие зрелища, — робко заметила матушка.

Отец промолчал, но взял меня за руку, и мы отправились.

Пройдя двор, мы вошли в полутемный, сырой коридор, под сводами которого глухо отдавались шаги часового, бродившего в противоположном конце. Гнилой, удушливый запах, двери с огромными замками и маленькими окошечками, сквозь которые пробивался тусклый свет ночников, изредка болезненный, глухой кашель, вырывавшийся из чьей-нибудь страдальческой груди, — все это навело на меня какой-то ужас, и я плотно прижался к отцу и вцепился в полу его сюртука.

— Чего боишься, глупый? — с улыбкой спросил отец.

— Страшно, папенька! — прерывающимся голосом, тихо пролепетал я.

1. Накладывание клейм широко практиковалось в системе наказаний. На лицо осужденного ставили раскаленную железную печать, выжигая на щеках и на лбу разные буквы. Только в 1857 г., несмотря на сопротивление придворной светской и духовной бюрократии, наложение клейм было отмечено.

В это время мы поравнялись с пустым номером, дверь в который была полуотворена.

— А вот тут страшно? — спросил меня отец, отворив совершенно дверь.

Но прежде чем я успел ответить, сильная рука толкнула меня вперед, и дверь затворилась. Я совершенно обмер от ужаса. Хотел закричать — голос не выходит из груди. Мороз пробежал вдоль спины, и я чувствовал, что вот-вот упаду. В беспамятстве, я прислонился к мокрой и сырой стене, штукатурка на которой совершенно отстала и образовала пузыри вроде опухолей, в которые проскакивали мои пальцы. Миллионы чертей, ведьм и прочей страшной дряни, о которой так усердно толковала наша нянька, готовы были, казалось, сейчас предстать предо мною, как дверь отворилась снова, и отец схватил меня за руку и вывел в коридор.

— Эх, трус! — с упреком сказал он. — Даже позеленел, дурак... А еще хотел я отдать тебя в военную службу: какой же из тебя воин бы вышел?

Я молчал и сильнее прежнего вцепился в полу его сюртука.

Так прошли мы один коридор, за ним другой, потом повернули в третий, маленький, и только после перехода в четвертый очутились перед разбитой дверью, висевшей на одной нижней петле. Несколько человек солдат, с ружьями наперевес, дежурный офицер и дежурный ключник стояли в коридоре в ожидании отца.

— Где же он? — спросил отец.

— Вон, на нарах сидит, — отвечал офицер.

Все вошли в камеру, где на нарах преспокойно сидел коренастый молодец с зверской физиономией, подвернув ноги под себя, и от нечего делать ковырял в носу.

— Что ты делаешь, разбойник? — закричал отец.

— Мне скучно одному сидеть, — хладнокровно отвечал арестант.

— Возьмите его, — сказал отец, обращаясь к солдатам. — Я тебя развеселю! Я тебя развеселю! — задыхаясь от

гнева, прибавил он и совершенно машинально взял меня за руку.

Мы прошли два небольших коридора и вышли на главный вход, налево от которого помещалась караульная. Отец также машинально поставил меня у самой лавки, на которую должен быть положен арестант, и закричал: „розог!“

— Раздеть его! — прибавил офицер.

Я стремглав бросился из комнаты и несколько минут простоял за дверью, закрывши глаза и заткнувши уши. Ототкнув их, я ясно слышал, как свистали розги при каждом взмахе, слышал поощрения отца и офицера, — но ни одного крика, ни одного вздоха не вылетело из груди арестанта. Я простоял довольно долго, дрог и от холода и от сильных ощущений. Наконец, слышу, отец закричал: „довольно!“ Дверь широко распахнулась, и трое солдат пронесли мимо что-то закутанное в шинели.

— Несите в больницу, — приказал отец.

— Миша! Где ты? — крикнул он.

Я подошел.

— Дрянь! — с сердцем заметил отец. — Теперь я никогда не буду брать тебя с собою. А завтра будут наказывать за заставой: возьму кого-нибудь другого...

Я попрежнему схватился за полу его сюртука, и мы отправились домой опять теми грязными и вонючими коридорами. Отец по временам заглядывал в небольшие стекла, врезанные в двери, иногда приподнимал и меня, чтобы я мог видеть полуосвещенную внутренность камер.

Наконец мы воротились домой. Матушка спросила меня, что я видел, и когда я рассказал ей, что именно, она со вздохом взяла меня за руку и повела спать.

Утром братья ходили с отцом за заставу смотреть, как гоняли сквозь строй военных арестантов, а меня, в наказание за вчерашнюю мою трусость, отец не захотел взять с собою.

До сих пор я ничего не говорил о своем старшем брате, в то время уже учившемся в гимназии и, которому было лет тринадцать.

Не говорил я о нем собственно потому, что он уже мало-помалу начал отбиваться от семьи, над которой тяготел деспотизм отца, и день проводил в гимназии, а по вечерам, несмотря на брань и побои, уходил из дома бог весть куда; следовательно, он мало принимал участия в общем строе семейной жизни. Отдавая его в гимназию, отец вверил надзор над ним инспектору, человеку грубому и жестокому, и надзирателю—выслужившемуся из рядовых. В каждый большой праздник он отправлялся к этим двум лицам с поклоном и подарками, прося беречь нравственность своего сына и сечь его за каждый проступок. С какою точностью исполнялась родительская воля, можно судить по тому, что брата секли раза четыре в неделю, по собственному усмотрению, и непременно раза два в месяц с разрешения отца. Мальчик озлобился и начал делать такие вещи, которые скоро доставили ему громкую известность между товарищами, а надзирателей его заставили побаиваться за собственную безопасность. Опасения их действительно скоро сбылись...

В один прекрасный день брат почему-то опоздал в класс на несколько минут. Инспектор поставил его за это на колени в дежурной комнате, где он простоял полтора часа. Начался следующий урок, а инспектор и не думал отпускать его. Так прошло еще полчаса, и инспектор ушел домой, оставив брата на коленях. Выведенный из терпения таким тиранством, мальчик придумал следующую штуку... В комнате, где он стоял, висели единственные в гимназии часы, по которым производились звонки по окончании классов; брат перевел их вперед, а явившийся сторож, увидя, что пришло урочное время—зазвонил. Учителя и ученики вышли из классов и хотя сомневались в точной быстроте времени, однако, преспокойно разошлись по домам; вместе с другими отправился и брат. Штука открылась, разумеется,

тотчас же, и, вновь явившийся в гимназию, брат был жестоко наказан розгами и посажен в карцер. Постоянно направляемый розгами на путь истины, бедный мальчик окончательно совратился с него и, явившемуся с увещаниями надзирателю, грозившему заporоть его до смерти, дал несколько ударов в лицо и изорвал тщательно сберегаемый темносиний фрак. Окровавленный и ободранный, надзиратель прискакал прямо к отцу и увез его с собою. Что было дальше—неизвестно...

Так прошел месяц, в течение которого мы ни разу не видели брата и ничего не слышали о нем, хотя догадывались в чем дело. Матушка плакала чаще обыкновенного и все о чем-то шепталась с няней; отец, постоянно мрачный и суровый, теперь сделался еще мрачнее. Нам приказывали ходить как можно тише и не шуметь и постоянно усаживали за книгу или высылали во двор, несмотря на осеннюю погоду.

Наконец, как-то поутру, когда мы только что воротились с урока, брат встретил нас с сияющей, хотя значительно похудевшей, физиономией. Начались расспросы, и он торжественно объявил нам, что хотя и вылежал больше месяца в постели за „проклятую“ гимназию, зато теперь перешел в уездное училище.

— Там,—с восторгом объяснял он:—не то, что в гимназии: там семинария рядом, и кулачные бои бывают каждый день, а когда есть свободное время, так даже раза по два...

Мы тоже радовались такому счастью, хотя скоро должны были разочароваться по следующему обстоятельству.

Месяца через полтора, уже зимою, брат воротился домой из училища в ужаснейшем виде!.. Вместо носа у него образовался какой-то нарост, угрожавший заслонить собою все лицо, расплывшийся направо и налево по щекам; на лбу торчали такие ужаснейшие шишки, что не было никакой возможности прикрыть их козырьком фуражки; кроме того, он жаловался на боль в правой руке и спине. Показаться в таком виде отцу, значило заранее

обречь себя на гибель; потому брат укрывался кое-где, натирая лицо бодягой и упрашивая всех говорить отцу, что он готовится к полугодичному экзамену. Но все эти хитрости были слишком слабы, чтобы скрыть горькую истину. Отец наконец узнал все и только покачал головою, проворчав про себя: „от рук отбился мальчишка...“

Такой оборот дела совершенно ободрил брата, и он рассказал нам все.

— Что же, что он мне шишки набил?..— говорил брат.— Ведь за то считается первым силачем в семинарии: он вон, в воскресенье, целую стену калачников разогнал.¹ Да и я бы ему сам рогов наставил, если бы было где повернуться, а то он меня сбросил на кучу кирпичей да и ну валять! Еслиб я не упал, я бы его под ножку, да потом вот так!.. Потом вот этак!.. а потом вот как!.. — и брат начал показывать нам все хитрости кулачного боя.

Мы смотрели на него с каким-то уважением, видя перед собой такого великого героя, украшенного всеми принадлежностями лучшего кулачного бойца: синяками, шишками, рубцами, фонарями и проч.

Между тем, наступившая зима брала свое. Снег шел почти каждый день, и морозы стояли довольно крепкие. Отец купил нам двое салазков, на которых позволялось кататься вечером, после урока. Иногда случалось смотреть нам на травлю зайцев и волков, которая производилась на огромном поле за острогом, по желанию сидевшего в то время в замке помещика-охотника и с разрешения отца. Другой помещик, тоже большой охотник, — посаженный в острог „за какую-то засеченную им девуку“, как говорил он, не хотевшую, как оказалось, сделаться предметом его сладострастия, — трубил при этом и рог с таким остервенением, что постоянно перепутывал всех — и собак, и охотников. Садки бывали довольно часто, и мы являлись на каждую, или официально, с

¹ Семинария в те годы помещалась в здании вынешнего областного музея, в б. доме винного откупщика Установова.

разрешения отца, или тихонько пробирались за стену острога и смотрели оттуда. После одной из таких прогулок, на которую нам не дано было разрешения, отец, в наказание, запер нас в холодный сарай возле бани, где стояла огромная кадка, служившая резервуаром для воды. Мы уселись на полу и плотно прижались друг к другу; но холод был до того нестерпим и нас продержали так долго, что позабыв всякую боязнь худшего наказания, мы начали голосить целым хором. Руки и ноги у каждого из нас до того одеревятели, что мы совершенно не могли ими ворочать. Особенно плакала сестра, которая, разумеется, была нежнее и слабее нас. Наконец отец догадался выпустить нас, наказав предварительно за то, что мы осмелились плакать, между тем как сами были всему причиной. Вероятно, это наказание послужило в нашу пользу, сразу подняв температуру крови, потому что мы не почувствовали ни малейшей простуды.

Ученье мое, между тем, быстро подвигалось вперед: я уже довольно бойко читал, а писал далеко лучше отца, хотя он иногда и сравнивал мои буквы со своими иероглифами и даже уверял, что он лучше меня пишет; другим же отец меня рекомендовал, как гениального мальчика, прибавляя: „вы посмотрите, как он пишет, точно печатает“. Но вскоре моей гениальности суждено было испытать самый жестокий удар...

Комната, в которой учились мы, имела, как все комнаты в остроге, окна с железными решетками. Дело было перед пасхой. Выставили рамы, и мне непременно хотелось просунуть голову сквозь решетку и подышать чистым весенним воздухом. Несмотря на увещания учителя, я карабкался на окно и начал приводить в исполнение задуманную мысль. Промежутки между прутьями решетки оказались слишком узкими, так что попытка моя удалась после чрезвычайных усилий. Совершенно довольный успехом, я с жадностью смотрел то направо, то налево и, наконец, до того увлекся, что начал плевать вниз, стараясь попадать в одно и то же место. Учитель не-

сколько раз советовал мне сойти с окна, но я не слушал. После долгих упражнений я действительно начал плевать в одну и ту же точку, раз за разом, как вдруг услышал позади себя голос отца и еще кого-то.

— Отлично пишет, ваше превосходительство, говорил отец.—У ребенка девяти лет совершенно министерский почерк...совершенно... Да где же он? — спросил отец учителя.

— Они вон на окне,—смирненно отвечал тот.

Положение ребенка с министерским почерком было совершенно критическое: он упирался и руками, и ногами, стараясь высвободить голову из решетки, повертывался то направо, то налево, пытался назад, подвигался вперед,—все напрасно, ничто не помогало.

— Да он к тому же бойкий мальчик,—заметило постороннее лицо и, подойдя к окну, посмотрело на меня сбоку.—Что, мой друг, застряла голова? — прибавило лицо с улыбкой, уходя.

Я продолжал биться и прыгать, как лошадь в кузнечном станке.

— Вы совершенно осыраили меня,—тихо заметил отец учителю.—Оставьте так его до вечера—прибавил он, и поспешил за посторонним лицом, мимоходом вытянув меня чем-то по спине.

Тотчас по уходе отца учитель побежал за мылом; мне намылили уши и щеки, и тогда только кое-как освободили голову из добровольного заключения...

Но вот наступило лето, и отец стал поговаривать о том, как бы отдать меня в гимназию. Притом же брат мой, так увлекавшийся сначала уездным училищем, теперь стал упрашивать отца перевести его обратно в гимназию: он понял, наконец, что гимназия все-таки лучше уездного училища.

Утром, в один из праздничных дней, отец приказал мне одеваться, чтобы ехать вместе с ним. Я с радостью исполнил его приказание, и мы отправились. До сих пор я ни разу не видел хорошенько города и с любопытством

озирался на обе стороны, расспрашивая отца обо всем, встречавшемся на пути. Чтобы отделаться от моих докучных вопросов, отец объявил мне, что скоро я сам узнаю обо всем, когда буду ходить в гимназию. Мы приехали в гимназию,¹ в квартиру директора, который встретил нас в зале. Это был низенький, толстенный человек, с порядочным брюшком, по которому он постоянно похлопывал, как бы стараясь дать другим заметить, что вот-де оно какое у меня! После различных китайских церемоний: поклонов, вопросов и ответов о здоровье и погоде, отец, наконец, представил меня ему.²

— Вот хотел бы я, ваше превосходительство (директор был статский советник), определить его в гимназии под покровительство ваше,—сказал отец.

— Что же, что же, можно, можно...—и директор захлопал по брюху.

— Дома-то он совсем избалуется, а у вас все-таки...

— У нас все-таки... у нас все-таки...и опять хлопанье по брюху.

— Он закон божий, арифметику и грамматику знает,—пояснил отец.

— Больше ничего и не нужно... больше ничего и не нужно... Мы латыни выучим, и всему выучим... и всему выучим...—твердил директор, опуская докучную ладонь на брюхо.

— Пишет отлично, — ввернул-таки отец.

¹ Тюремный острог в то время находился за городом, так как окраины последнего доходили только до нынешней Чапаевской улицы. Гимназия помещалась на углу Гимназической ул. (№ 17) и Гимназического проезда. В здании б. гимназии, значительно позднее перестроенной и расширенной, в наши дни помещается обл. суд и др. учреждения.

² Прототипом автору послужил В. А. Лубкин (прозвище — „Паук“), директорствовавший с 1847 по 1850 г., про которого даже официальный историк говорит, что он не был чужд „слабости своего времени, выразившейся в форме принятия благодарностей“.

— Тем лучше, тем лучше... а то у нас учитель чистописания злой: все уши обобьет линейкой, все уши обобьет линейкой.

Тут отец и директор подались вперед и протянули правые руки, после какового рукоприкладства отец, как человек военный, опустил свою на шов, а директор, как гражданский чин, понес свою сначала в левый карман жилета, а потом уж захлопал по брюху.

— Когда же, ваше превосходительство, приводить его прикажете? — спросил отец.

— В августе, в августе... в первых числах, в первых числах...

— А старшего-то как же, ваше превосходительство?

— Не приму, не приму... Негодяй! — возразил директор. — Начальство не уважает и бьет, начальство бьет...

— Он исправится, ваше превосходительство...

Отец и директор опять совершили рукоприкладство, после чего директор забормотал:

— Хорошо, хорошо... приму, приму... только пусть исправится, пусть исправится...

— Да уж в этом будьте благонадежны—исправится,— поручился отец.

Мы раскланялись с директором и отправились к инспектору¹, который жил тоже в гимназии. С инспектором (он был поляк) отец обходился гораздо бесцеремоннее, чем с директором, и даже иногда позволял себе подшучивать над ним, уверяя, например, что отдает полную справедливость его уму, но никак не может простить того, что он, вместе с другими поляками, „проспал Варшаву“ (известный упрек, делаемый полякам нашим простонародьем.). Инспектор сердился и отвечал отцу колкостями. После долгих споров подали водку, и инспектор начал толковать о трудности своей обязанности, за что и получил от отца белеенькую...

¹ Прототипом автору послужил инспектор Б. М. Ольшевский, человек высокого роста, с сизобагровым лицом, пьяница.

От инспектора мы поехали домой. Дорогой отец толковал о новой жизни, в которую предназначается мне вступить, и советовал прилежно учиться и хорошо вести себя, уверяя, что инспектор и директор такие люди, которые готовы съесть ленивого и безнравственного ученика.

По приезде домой я рассказал обо всем братьям и сестрам, которые позавидовали моему счастью; няня при этом объявила мне, что будет звать меня не иначе, как красной говядиной или грачом (клички гимназистов, чрезвычайно распространенные в то время)¹.

Я был в совершенном восторге! К тому же у меня образовался в это время порядочный альтист, и отец позволил мне петь на кларнете в тюремной церкви, где мы вместе с гнусавым дьячком и дряхлым ключником, певшим дискантом, отличались на левой стороне, образуя трио. Но счастью моему, как и всякому счастью в сей жизни, суждено было на некоторое время помрачиться... Дело было вот какого рода.

В первый воскресный день, забежав в кабинет отца, я уронил на пол и разбил вдребезги любимый его фарфоровый стакан. Отец окончательно вышел из себя... Но куда он ходил в детскую за нагайкой—я скрылся. Зазвонили к обедне, и отец, сопровождаемый кучей детей мужского и женского пола, отправился в церковь, приказав няне отыскать меня и привести туда же. Делать нечего—нужно повиноваться. Вошедши в церковь (обедня уже началась), я, по обыкновению, стал пробираться на левый кларнет, как был остановлен резким криком отца: „куда ты?“ Я совершенно оторопел. Диакон, услышав крик, сбился в произносимой им ектении, но к счастью скоро поправился и продолжал. Отец между тем подозвал меня к себе и, взявши за ухо, поставил на колени на амвон, против образа богородицы.

¹ Клички идут от форменной одежды гимназистов с принадлежащими ей красным околышем фуражки и красным воротником сюртука.

Я опустил глаза в землю и начал ушащенно накладывать на себя крестное знамение и делать поклоны, стараясь хотя сколько-нибудь скрыть от других свое волнение и свое тяжелое положение. Оправившись, я изглянул на левый клирос, и грустные лица дьячка и ключника, сочувствовавших моему горю и убитых тем, что расстроилось трио, глубоко тронули мое детское сердце. Совершенно уничтоженный таким неожиданным оборотом дела, я уставил глаза на образ богоматери, и на ее святом лике ясно прочел печаль и сожаление обо мне. Это меня несколько ободрило, и я спокойно выстоял на коленях целую обедню, после которой отец засадил меня читать жития святых отцов и продержал в детской за этой книгой целых три дня. Наконец, в один прекрасный день я получил амнистию, потому что скоро должен был отправиться в гимназию.

II

Наконец, время моего отправления в гимназию наступило. Раз, поутру, отец разбудил меня часов в шесть и велел готовиться к отправлению на приемный экзамен. Я тотчас оделся, взял в руки арифметику и начал перелистывать ее, вовсе не думая читать, потому что голова моя была занята совершенно другим. Фантазия быстро представляла один за другим различные образы, в которые воплощалась моя собственная персона: то являлся маленький гимназистик, бойко отвечающий свой урок и хвалимый учителем; то рослый, плечистый молодец, побивающий целую толпу своих товарищей; то, наконец, робкое, забитое, чахлое существо, от которого я с негодованием отворачивался, как от странного порождения праздної фантазии. Подержав в руках арифметику, я принялся перелистывать точно таким же образом грамматику, в которой был гораздо слабее. Пересматривая цифры на страницах, я, наконец, остановился на самой большой из них, думая, что уж тут непременно

должно быть что-нибудь важное. Начинаю вчитываться... Раз прочел — не понимаю; в другой — тоже; в третий читаю — та же история. Я уже хотел бросить мудреную книгу, как вдруг подходит отец и спрашивает меня, что я читаю? Я отвечал: грамматику. — Ну, вот ты это место долго читаешь; дай я спрошу: знаешь ли? — Отец взял у меня книгу и громкогласно произнес: — говори отсюда: глаголы начинательные... — Я молчал. — Как же ты учил, учил, а ничего не знаешь? — спросил отец. — Да этого я не учил; это я так только просмотрел. — А, так-то ты готовишься к экзамену? — протянул отец. — Стань на колени и учи, что нужно, — прибавил он. Я повиновался и со слезами на глазах начал бормотать какое-то давно мне известное правило. Наконец, встали мои братья и сестры, и начали бегать мимо меня, стараясь узнать, за что я поставлен на колени. Я уткнул лицо в книгу, читая мертвые и сухие правила, которые едва-ли могли пойти в голову, и на все расспросы братьев отвечал только энергическим движением головы. Так выстоял я до девяти часов. Отец не велел мне даже давать чаю, потому что, говорил он, сытое брюхо к учению глухо... Так отравлена была заря моего счастья!

Часов в девять мы отправились: я, старший брат и отец. Дорогой отец делал наставления брату в таком роде: — Ой, берегись, Миша! Ой, берегись делать такие шалости! Ты ведь знаешь, что у меня нет пощады... Я тогда тебе полтораэта розог дал, теперь двести дам и — в кантонисты! Я тебе, как перед богом, говорю это! Брат молчал и нервно подергивал губами, вероятно припоминая „полтораэта“.

По приезде в гимназию, мы вошли в публичный зал, где производились в это время экзамены. Директор сидел у одного стола, вместе с вертявым господином, тонким и изящно одетым, и другим господином, толстым, опухшим, хриплым и грязным; инспектор, на противоположном конце зала, у другого стола, тоже с двумя существами, из которых одно было немецкой расы, дру-

гое—русской с сивушным запахом, как случилось мне заметить, проходя мимо него. Перед обоими столами стояли гимназисты, человек по пяти. Мы направились к директорскому столу.

— Вот, ваше превосходительство, привез детей, — произнес отец, обращаясь к директору.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал директор. — Мы сейчас этого маленького проэкзаменуем, проэкзаменуем... — и директор обратился к вертлявому господину, приказав ему проэкзаменовать меня из математики и прочих наук.

— Они-с в первый-с класс? — спросил вертлявый директор.

— Да, в первый, — отвечал тот.

Вертлявый господин не без грации приподнялся со своего места, осторожно взял меня двумя пальцами за рукав и повел к доске. Тут он скорчил серьезную мину и задал мне какую-то задачу, которую я разрешил удовлетворительно, за что и был подарен от моего экзаменатора приветливой улыбкой. Потом он спросил меня кое-что из закона божия, причем, не замедлил пуститься даже в различные тонкости. Спросил меня также вертлявый господин и из грамматики, в которой, надобно заметить, он не был таким знатоком, как известный пристав, выпускавший разбойников из части, хоть тоже пробовал пускаться в различные отвлеченности. Тем мой экзамен и кончился. Вертлявый опять схватил меня двумя пальцами за рукав и повел к директорскому столу.

— Они прекрасно-с выдержали экзамен, — с лакейскими поклонами и ухватками сообщил мой экзаменатор директору.

Дальше начался разговор между отцом и директором по поводу брата, причем директор объявил, что принимает его не иначе, как на прежних условиях, т. е. сечь четыре раза в неделю, по собственному усмотрению, и два раза в месяц, с разрешения отца.

— Завтра можно в классы приходить, в классы приходить, — сказал нам директор, когда мы откланивались.

На лестнице догнал нас опухший, хриплый толстяк, сидевший за директорским столом, и, схвативши отца за руку, спросил:

— Какую, я забыл, наливку вы мне хвалили?

— Вишневка, вишневка, — отвечал отец. — Приезжайте попить.

— То-то, то-то... А я все сижу да думаю: какую, мол, наливку он мне хвалил? А спросить-то неловко. Теперь приеду; теперь уж не отвертитесь, сыновей в гимназию отдаете, нужно вспрыснуть, — прибавил опухший и захотал.

— Милости прошу, — отвечал отец, и мы пошли дальше, оставивши толстяка в приятной надежде на изрядную выпивку.

Я приехал домой в совершенном восторге. Экзамен выдержал отлично, завтра пойду в гимназию, стало быть, все-таки реже буду встречаться с отцом, — какое счастье! Ко всему этому, в довершение моей радости, после обеда портной, из арестантов, принес мне гимназический сюртук и фуражку с красным околышем.

— Вот, ваше благородие, — говорил портной отцу, никогда не шивал фуражек, а для вашей милости сшил.

Фуражка, в самом деле, была верх совершенства, на проволоке, картоне, китовом усе и проч., так что представляла собою полый цилиндр с отверстием в одном из оснований, назначенном для всовывания головы. Три четверти края отверстия занимал козырек, чуть ли не из жести, который служил впоследствии ужасом для моих товарищей и набил не одну шишку. По поводу ее и сюртука между отцом и портным произошел следующий разговор:

— Эх, братец, — говорил отец, обращаясь к портному, — ты бы вверху-то пошире пустил, оно красивее бы было.

— Я пушал, ваше благородие, и много пушал, да как-то не вышло. И как это оно не вышло? — допытывался портной, осматривая фуражку.

— Опять вот воротник у сюртука, — замечал отец, — как ты его сделал?. Он должен подпира́ть шею, чтобы прямее стояла голова, а ты вон какой маленький сделал.

— Это ничего, ваше благородие, этак еще лучше, красивее, — замечал портной.

После таковых рассуждений сюртук был сложен и отнесен в шкаф, а фуражка, не помещавшаяся ни в одну картонку, повешена в зале на гвоздь, рядом с каким-то генералом.

На следующий день я отправился в гимназию вместе с братом. Я отказался даже пить чай, утверждая, что никогда не любил его. Матушка и няня напихали мне в карманы разных припасов и долго давали наставления брату, чтобы он присматривал за мною и берег меня. Когда мы выехали из дома, брат дал мне заметить, что вовсе не намерен быть моим гувернером, на что, впрочем, я и не рассчитывал.

— Спиши расписание, да узнай, какие книги тебе нужны, вот и все, — объявил мой брат, — да дома советую поменьше болтать, а то пойдешь рассказывать всем и про себя и про меня.

Я принял все это к сведению, стараясь по возможности следовать добрым советам.

Вот, наконец, и гимназия, об устройстве которой я скажу теперь несколько слов.

Гимназия находилась в лучшей части города¹ и отличалась необыкновенною ветхостью и грязным наружным видом. Во время моего поступления стали говорить о ее переделке, потому что, действительно, некоторые части

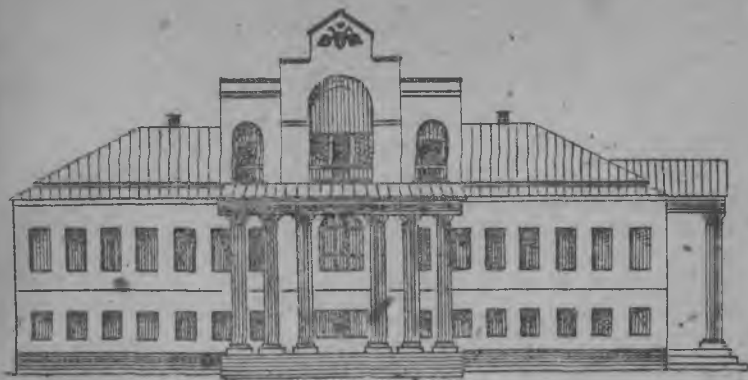
¹ В те годы торговым центром города оставалась Старособорная площадь (ныне Музейная), хотя все больше и больше вырастало значение Хлебной площади (Верхний базар). Здесь же рядом на Новособорной пл. (теперь пл. Кирова) помещалось здание присутственных мест (в настоящее время общежитие авиатехникума). На Большой Сергиевской (ныне Чернышевской), между Московской (Ленинской) и Бабушкиным взвозом, жило купечество и дворянство. Здание гимназии в первой четверти века являлось дворцом губернатора А. Д. Панчулидзева.

здания угрожали падением; с потолков сыпалась штукатурка целыми глыбами, а полы совершенно сгнили. Здание состояло из трех этажей: в среднем помещались классы, в нижнем — пансион и квартира директора, в верхнем — библиотека и физический кабинет. Классы гимназии располагались по обеим сторонам грязного, узкого коридора, в одном конце которого помещалась дежурная комната (местопребывание инспектора и надзирателя), в другом — сборный зал. Пансион, занимавший нижний этаж, состоял из нескольких спален, одной столовой, одной гардеробной и одной занимательной комнат. Он назначался для тех из учеников, которые отдавались на собственный или казенный счет и обязаны были жить в самой гимназии. О гимназической библиотеке и физическом кабинете трудно сказать что-нибудь определенное, потому что в первую никто не допускался, а во второй иногда вели учеников, как будто именно для того, чтобы показать им, что все инструменты находятся в совершенной негодности. О библиотеке ходили слухи, что главная достопримечательность ее — самовар, назначавшийся для директора, который любил иногда выпить чашку чаю с Ломоносовым¹ или Державиным² в руках; что, на случай приезда ревизоров, книги собирались по городу, и тогда полки шкафов совершенно ломились под различными отечественными и иностранными изданиями. Кроме главного здания гимназия имела при себе несколько флигелей, в которых нельзя было жить по их ветхости, и необходимые надворные строения, в которых помещались кухня, баня, конюшни, сараи, погреб и проч.

Когда я вошел в зал, куда собирались ученики гимназии до классов, меня, как новичка, сейчас же окружили и начали расспрашивать, как моя фамилия? В который класс поступил? Сколько мне лет? Кто мой отец? и проч.

¹ Ломоносов, М. В. (1711—1765)—великий русский ученый и писатель.

² Державин, Г. Р. (1743—1816) — поэт.



Саратовская мужская гимназия. Рис. Д. А. Мордовцева.
(Дом-музей Чернышевского).

Я, по возможности, удовлетворял всем этим запросам, но так как они сыпались на меня целым градом, то, наконец, я рассудил не отвечать на них и смиренно уселся за ученический стол, неизвестно зачем стоявший тут. Первою моею мыслью было — спрятать свою фуражку; но, о, ужас! — Она не входила в отверстие стола. Это сейчас заметили и начали подсмеиваться надо мною.

— Вы видели барабан? — спросил один мальчик другого, подводя его к моей фуражке.

Мальчик вместо ответа постучал по предполагаемому барабану.

— Господи! господа! — кричал первый мальчик: — к нам барабанщика определили! Посмотрите, вот и барабан у него...

Он схватил мою фуражку и бросил в толпу, которая принялась ожесточенно колотить по ней линейками, уверяя, что даже слышны звуки. Вместе с другими в этом приняли участие такие великаны, что я совершенно обмер, считая свою фуражку погибшею. К моему счастью вошел инспектор, и толпа разбежалась, оставивши мою

фуражку на полу среди залы. Инспектор поднял ее и, узнавши, что она принадлежит мне, объявил, что высечет, если я не буду беречь свои вещи. Через четверть часа раздался звонок; все побежали в классы; вместе с другими — и я.

Первый урок — арифметика. Знакомец мой, вертлявый господин, важно вошел в класс и, рассевшись на кафедре, торжественно произнес: „перо и чернила!“ Тотчас явилось перед ним то и другое; затем учитель спросил, какое число, и записал его в свой журнал. Все это делалось с необыкновенным достоинством и серьезностью, хотя прямо противоречило комической фигуре вертлявого господина.

— Что же вас мало? — спросил учитель, — важно разваливаясь на стуле.

— Не все еще собрались, — ответил кто-то.

Подле меня сидел довольно плотный мальчик в изорванном сюртуке, ясно указывавшем на его бойкий характер, и, как я узнал, оставленный в первом классе на четвертый год. .

— Это Петька¹, — сказал он мне, кивнув на учителя, — он арифметике учит. Видите, как он важничает, а ведь прежде мещанишкой был. — Нет вот после, во второй урок, — прибавил он, — придет Митька Сайга, грамматик, тот преуморительный! Посмотрите, что мы будем делать с ним... просто ужас! — и мальчик от удовольствия стал потирать руки.

Учитель между тем сошел с кафедры, прошелся несколько раз по классу, подпершись в бока и осматривая свои сапоги, снял какой-то пух с рукава и, подняв его двумя пальцами над своим носом, пресерьезно подул, отчего некоторые из учеников принялись фыркать; потом подошел к доске и начал объяснять первые правила арифметики.

¹ Прототипом автору послужил П. Я. Ефремов, который, кроме указанных им „качеств“, любил „приношения“ родителей учеников, за что он последним ставил хорошие отметки.

— Ведь вы думаете, кто он? — спросил меня сосед. Я вопросительно посмотрел на него.

— Его мать картошкой торговала, ей богу! А он, смотрите-ка, как важничает.

Сын торговли картошкой, вооружившись мелом, начал выказывать всю силу своего красноречия, с различными словоизвитиями, доказывая, что единица есть известная величина и т. д. В самую патетическую минуту, когда он обтачивал вторую половину изящнейшей фразы, имевшей целью сделать переход от единицы к числу по возможности легкому, кто-то сильно закашлялся.

— Кто это кашляет? — закричал учитель, побагровев от злости.

Все молчали.

— Старший, кто кашляет? — спросил он.

— Нет старшего, — был ответ.

— Я вас назначаю старшим, — сказал учитель, обращаясь к рослому мальчику, — а кто закашлял, тот мужик, невежа!

Раздался общий хохот.

Учитель еще больше сконфузился и, обернувшись к доске, вместо арифметики понес такую дичь, что я даже глаза выпучил. Арифметика и ругательства, ругательства и арифметика, — все это до того перемешалось, что выходила какая-то новая наука. Однажды, выбившись из колеи, учитель уже не мог обратно попасть в нее, он шипел, кричал — все напрасно.

— Разбазился, — шепнул мне сосед.

По окончании класса, учитель поспешно схватил свой журнал и, почти выбегая из класса, закричал нам: все вы мужики! Раздался общий смех, свист и хлопанье в ладоши, и все попрыгали через столы и скамейки на середину класса.

Я смиренно сидел на своем месте, посматривая на товарищей. Большинство из них было оставлено в классе за дурные успехи; новичков было еще довольно немного. Несколько человек развязали свои галстуки и

начали хлестать ими друг друга, отчего поднялся ужаснейший крик и шум.

— Макарка! — провозгласил кто-то.

Все разбежались по местам, когда вошел в класс пресловутый Макарка, надзиратель. Надзиратель был из дослужившихся; роста он был высокого, одет в виц-фрак, выбрит чистенько, острижен гладко: это был прототип выслужившегося из солдат. В речи его слышались темпы, а для красоты слога к каждому почти слову он прибавлял „ста.“

— Что-ста развоевались, поросята! — крикнул Макарка. — Смирно! Кто ста будет шуметь — голову сорву-ста! — угрожал Макарка.¹

В классе господствовала мертвая тишина.

Едва Макарка, повернувшись налево кругом, вышел, как шум возобновился. Началась прежняя игра в жмурки, причем казачий сын, вершков восьми роста, сделался целью для ударов. Все кричали: „бей его, бей его!“ и несчастного принялись колотить со всех сторон, ловко увертываясь от страшных размахов его рук.

— Митька! Митька! Сайга!² — опять прокричал кто-то, и в класс вошел довольно пожилой человек с гладко прилизанными волосами и огромным носом.

— Молитбу! — повелительно изрек Митька.

Прочитали молитву, и Сайга отправился к кафедре, предварительно приказав стереть с доски какую-то фигуру, под которою было подписано: Сайга. Ему подали чернильницу и перо, на конец которого была посажена

¹ Прототипом автору послужил надзиратель М. И. Макаров (по другим источникам И. М. Белавин). Это был отставной унтер-офицер, типичный выученик армии Николая I с ее палочной муштрой, бывший собственноручно учеников и доносивший на них „инспектору-живодеру“.

² Прототипом автору послужил учитель русского языка Д. А. Андреев (по другим источникам Д. А. Афанасьев), получивший свое прозвище за сходство с диким животным сайгаком. Он плохо знал свой предмет, прибегал к физическим наказаниям, уроки задавал вызубривать на-память.

муха. Развернувши журнал и справившись о числе, Митька погрузил перо в чернила и потом перенес его на свой журнал, отчего вместо числа появилось огромное чернильное пятно.

— Кто это сделал? — закричал Митька.

Все молчали.

— Это ты, мужик, сделал; ты, черномазый дьяволенок! — закричал Митька, обратившись к смуглолицему мальчику.

— Нет, это не я, — отозвался тот.

— Ты, цыганская рожа! Ты! Ты! — кричал учитель, сбегая с кафедры и, схвативши несчастного за уши, бросил его со всего размаха на пол.

Мальчик закричал, застонал, заохал, — и в самом деле было отчего: по лицу несчастного лились потоки крови.

— Я тебе покажу, как шутить со мной! — задыхаясь от ярости, проревел учитель.

В классе раздался шум, шедший постепенно crescendo¹, и наконец страшный взрыв криков, свиста, лая, мяуканья и проч. наполнил комнату. Прибежал инспектор и, узнавши в чем дело, повел смуглого мальчика с собою, несмотря на клятвы и уверения в невинности.

Беднягу наказали розгами...

— Пошумите, пошумите... каждому то же будет, — самодовольно произнес учитель, направляясь к кафедре.

— Жалко, что инспектор пришел, — сказал мой сосед, — а то бы мы его побазили. А ведь, знаете, если бы инспектор не явился, он сам не пожаловался бы: своими руками оттаскает, да и все тут...

Меня, признаюсь, мало порадовало такое родительское обхождение.

— Он мне в прошлом году вон какой клок волос выдрал, — пояснял мой сосед, указывая на голову: — ну, мы за то и базили его, просто ужас!

¹ crescendo (лат.) — возрастающая.

На несколько минут водворилась тишина, и Митька начал расспрашивать какого-то быстроглазого мальчика, за что он оставлен в классе, потом стал записывать фамилии новичков, причем спросил меня, не брат ли мой был исключен из гимназии за дурное поведение? Я отвечал утвердительно.

— Ну, батюшка мой, наставительно произнес Митька, советую вам вести себя хорошенько и не следовать по стопам братца, а то мы попорем, попорем, да и вон из гимназии: мы ведь шутить-то не любим...

Я учащенно моргал глазами и молчал.

Записавши фамилии вновь поступивших, учитель начал рассказывать урок, ввертывая по временам различные шуточки и прибаутки, отличавшиеся своей избитостью и пошлостью, например: грамматика есть наука, учить ее скука и т. д. Все, разумеется, смеялись, а учитель, самодовольно улыбаясь, кричал: „тише вы, уродцы!“ Опять поднимался хохот. Митька ввертывал еще какую-нибудь пошлость, приводившую весь класс в неописанный восторг, и потом первого попавшегося на глаза мальчика драл за уши и ставил на колени, причем другие начинали шипеть, свистать и кричать.

Учитель грамматики, собственно, был человек очень добрый. Это случилось мне заметить в нем уже впоследствии, когда отец посылал меня и брата отвезти ему фунт чая и голову сахару, при этом он расцеловал нас и потом долго, долго ставил высший балл — пять. Причину же зверских поступков, подобных вышеприведенному, разъяснила в последнее время весьма точно физиология, доказав, что у каждого преподавателя через десять лет службы совершенно расстраивается нервная система, — а учитель грамматики прослужил ровно вдвое.

К концу класса пришел директор, постоял и вышел. В двенадцать часов нас распустили по домам, потому что в мое время собирались два раза, — утром и пополудни.

За нами прислали лошадь. Брат дожидался меня у подъезда, упрекнул за медленность, и мы отправились.

По приезде домой я решительно не знал, как отделаться от различных вопросов, подставляемых мне то матушкой, то братьями и сестрами, то няней. По обыкновению, каждый непременно спрашивал меня: не высекли ли, не отодрали ли за уши, не стоял ли я на коленях и прочее. Отец предложил мне вопрос подобного же рода, причем, между прочим, прибавил, что просил начальство сечь меня точно так же, как и брата. Такая перспектива показалась мне на этот раз далеко не завидною.

После обеда нас опять отвезли в гимназию. Мы опоздали минут на пять, и классы уже начались. С сердечным трепетом, едва переводя дух, я вошел, не зная, какой у нас урок. На кафедре сидела какая-то ужасная фигура,¹ которая при моем появлении издала рев. Я побледнел, задрожал и стал пробираться, на свое место. Фигура опять заревела и, обращаясь ко мне, начала ударять левою рукою о правую, висевшую без всякого движения.

— Он вас к себе зовет, — закричали мне.

Я подошел к кафедре; рычание повторилось, но я ровно ничего не понимал.

— Он вас спрашивает, говорите ли вы по-французски? — подсказали мне.

Я отвечал, что не говорю, на что фигура забормотала: будь-дит! На место!

Усевшись, я начал озираться вокруг и заметил в одном углу кучку моих товарищей, которые задумывали что-то. Один из них держал в руках фуражку, закрывши ее отверстие книгой. Выждав, когда учитель обернулся в противоположную сторону, он снял книгу, и из фуражки выпорхнуло несколько воробьев. Все

¹ Прототипом автору послужил учитель французского языка Вульферт. Он был ефрейтором в армии Наполеона, попал в плен, стал гувернером в помещицкой семье, а затем по протекции, несмотря на паралич правой руки и ноги и повреждение языка, попал в саратовскую гимназию. Ключа, с помощью которой он передвигался, служила ему также для обороны и расправы с учениками.

закричали, начали вскакивать со своих мест, махая книгами, фуражками и тетрадями, и в классе поднялся ужаснейший шум. Француз тупо смотрел по сторонам, недоумевая, как поступить в подобном случае; и только, когда воробы, один за другим, повывлетели в окна, и крики малю-помалу начали утихать, он важно произнес, ударив левою рукою о правую: *silence!*¹ Настала тишина. Учитель сошел с кафедры и начал прохаживаться вдоль класса, заставив одного из учеников читать Сен-Жюльена.

Учитель французского языка был жалкий калека, хромой и сухорукий. Правая сторона его тела была разбита параличем, так что ему стоило, как видно, слишком больших усилий таскать за собою постоянно отстававшую ногу. Личные нервы тоже были сильно расстроены, что замечалось из опустившихся углов рта, широко открытых и редко моргавших глаз, и постоянной неподвижности личных мускулов. То же, разумеется, постигло и умственные способности бедняка, расстройство которых он энергически поддерживал употреблением спиртных напитков. Бродя по классу, он беспрестанно бормотал что-то, изредка давая левой рукой щелчки сидевшим на первом месте ученикам, которые марали мелом его фрак. Иногда он останавливался, бил ладонью левой руки о неподвижно висевшую правую и резко кричал: *silence! taisez-vous!*² На минуту наступала тишина, но потом опять возобновлялся прежний шум.

О каждом учителе в гимназии непременно ходили различные легендарные сказания, которые, переходя от поколения к поколению, крепко сохранялись в ученической памяти. О несчастном французе, например, рассказывали, что он когда-то был идеалом своих учеников; что, занявши место учителя, он понял необходимость знания русского языка, о котором учитель не

¹ Тише!

² Тише! Замолчите!

имел ни малейшего понятия; что, своими рассказами, на ломаном русском наречии, о красотах швейцарской природы он приводил своих слушателей в неподдельный восторг и т. д. Легенда во всем обвиняла среду, в которую попал бедный иностранец, что он, как и все ее члены, не мог устоять против известной русской поговорки, — с волками жить — по-волчьи выть, служившей девизом среды; и он, мало-помалу, начал втягиваться в пошлую, грязную жизнь кружка, — а тут подвернулся паралич... и из идеала вышла грязнейшая действительность, приправленная физическим и нравственным калечеством.

После французского урока следовало черчение, и учитель чистописания, черчения и рисования вместе, какой-то вольный, следовательно, не нуждавшийся в образовании художник, вбивал линейкой из красного дерева общие понятия об архитектуре, вообще и о капителях, базисах, колоннах, карнизах и фризах, в особенности. Директор не даром предупреждал меня, что он строг: действительно, удары сыпались то и дело, без всякого разбора, по рукам, спине, плечам, голове и прочему. Передо мной он положил какой-то базис, с которого я должен был копировать. Я действительно скопировал, но такую штуку, перед которою побледнели все подобные произведения моих товарищей: вместо базиса я изобразил корову, для красоты прибавив внизу масштаб, которым можно было бы измерить ее.

После черчения классы окончились. Вместе с братом я пошел домой пешком. Дорогой я перечитал несколько раз расписание классов, по которому оказывалось, что предметов у нас восемь и между ними я знал только три: закон божий, арифметику, грамматику и чистописание, к которому примыкали уже несколько мне известное черчение и совершенно неизвестное рисование, составляя вместе предмет свободных художеств; об остальных четырех я не имел ровно никакого понятия.

В следующие дни я аккуратно посещал классы, и в неделю совершенно ознакомился с гимназией. Из учителей мне особенно нравились учителя закона божия и географии. Священник, учитель закона божия, был кроткий, добродушный и весьма серьезный человек; он не употреблял никаких наказаний для ленивых и шалунов, но всегда старался действовать на них добрым и ласковым словом. И действительно эта мера была самая лучшая: учились все у него превосходно, а вели себя совершенно безукоризненно. Учитель географии, напротив, не обращал ровно никакого внимания на знания и поведение своих учеников: он видел, что в нем слишком мало сил и умения к тому, чтобы переделывать таких испорченных детей, хотя, нужно заметить, порча в нас была только кажущаяся ему и его товарищам; в действительности же этот образ действия со стороны учеников был вызван поступками их наставников, и истинно образованный человек никогда бы не стал в тупик перед подобными препятствиями, видя, что исправление их находится в его воле. Но мы искренне любили учителя уже за одно то, что он избавлял нас от всевозможных наказаний отеческих и официальных. Не могу вспомнить без ужаса об учителе латинского языка, который, к счастью, учил нас две-три недели. Это был именно тот господин с сивушным запахом, о котором я уже сказал прежде, при моем вступительном экзамене. В мое время поговаривали, что это был умнейший человек во всем педагогическом совете нашей гимназии; но мне не случалось заметить в нем особенного ума, хотя должен признаться, выкидываемые им штуки могли притти только в гениальную голову. Вот пример.

Между моими товарищами особенно жалкую роль играл рябой мальчик, лет пятнадцати, сын какого-то бедного офицера: мальчика все били, марали мелом, рвали его платье, — одним словом, это было жалчайшее существо, каких только случалось мне когда-нибудь

видеть. В угнетении бедняка, учителя не отставали от учеников: изящный учитель арифметики, например, подшучивал над его безобразием, советуя почаще умыть руки и лицо, и называл его не иначе как замарашкой-мужичком, взятым из-под сохи и прочее (этот учитель был большой острослов!); учитель грамматики входил в класс не иначе, как поставив ненавистного ему ученика в угол носом, или выгнав его из класса: „хари его видеть не могу!“ — говорил он, морщась; надзиратель, Макар бил его собственными руками и ставил на колени на несколько часов; инспектор то и дело сек, — одним словом, бедняку не было житья ни от кого... Но учитель латинского языка превзошел всех... Преспокойно расхаживая по классу, он вдруг, с каким-то остервенением бросался к доске, хватал тряпку, которою стирали мел (губки тогда еще не вошли в моду и употреблялись только во время ревизий), и бросал ее в сильно ненравившееся ему лицо ученика; потом топал ногами, кричал, бесновался, давая тем знать, чтобы он вышел из класса. Раз как-то вздумалось этому учителю спросить у мальчика урок, которого тот, разумеется, не знал, потому что его никогда до сих пор не спрашивали, знает он или нет свой урок?

— Поди сюда! — заревел учитель.

Ученик подошел.

— Подставь морду, воронье пугало! — продолжал учитель.

Мальчик, не подозревая ничего, повиновался.

— Тыфу ты, поганая харя! — и латинский учитель наплевал в лицо бедняку.

Мы, разумеется, только надсмеялись над такой выходкой учителя, хотя каждый из нас мог рассчитывать на подобный сюрприз. К счастью, приехал новый наставник латинского языка, немец, педант.¹ Новый учи-

¹ Прототипом автору послужил учитель К. В. Бауэр. Это был либерал, националист, склонный к грубым выходкам и державшийся устарелых методов преподавания и учебников.

тель имел какой-то свой метод преподавания, по которому, например, латинские склонения, написанные четырехстопным ямбом, не говорились, а пелись. Учитель этот сначала было силился написать стихами всю грамматику (за что, разумеется, получил бы полную демидовскую премию), но стал поигрывать в картишки, женился и кроме следующего двустипшия

Piget, pudet, poenitet,
Taedet atque miseret... ¹

ничего не выдумал больше. Спряжения глаголов выучивались при нем всегда вразбивку, т. е. по видам, и тут-то представлялся полный простор рьяной деятельности учителя латыни!.. Он обыкновенно становился на середину класса, провозглашал какой-нибудь глагол в неопределенном наклонении, потом быстро называл наклонение, время, число и лицо, требуя тотчас выразить заданный глагол в предложенной форме. Все это делалось необыкновенно скоро и, разумеется, никто не мог ответить вдруг; тогда учитель перебегал от одного ученика к другому, от другого к третьему и т. д., до тех пор, пока не получал удовлетворительного ответа. Это была, так сказать, игра на фортепиано, потому что ученики поднимались и опускались один за другим, как фортепьянные клавиши, издавая в то же время различные тоны, из соединения которых учитель мог сочинять что ему угодно. Иногда он вытягивал целую дискантовую или альтовую гамму, в которой ухо слышало даже гармонию; иногда, напротив, среди дискантовых и альтовых нот ревел баритон или даже бас, — вообще латинские классы шли весело: ученики были довольны, учитель блаженствовал (много ли нужно немцу?..). Как человек свежий и молодой, учитель латыни мало поддавался господствовавшим тогда между его товарищами

¹ Бессмысленный набор слов одной и той же грамматической формы.

привычкам и обыкновениям вроде щелчков, оплеух, зуботычин и проч. Тем же достоинством отличался и учитель немецкого языка, за которого, впрочем, всегда расправлялся инспектор, потому что немец ему сообщал фамилии ленивых и безнравственных мальчиков. Немецкий учитель ¹ был большой флегматик, и энергии у него не доставало даже на то, чтобы плюнуть в неприятное ему лицо ученика (он плевал на пол). Это был тип колониста, провонявшего дымом плохих сигар, и постоянно жевавшего табак для предостережения от цынготной болезни, а может быть и из других видов. В преподавании он ограничивался короткими возгласами „от сих и до сих“... изредка прибавляя: „и все старое повторить“, после чего, разумеется, инспектор получал целый список ленивых и безнравственных. Звали его, как большую часть немцев, Карлом; любил он, как большая часть немцев, сигары и колбасу, пил, как большая часть немцев, пиво, вот, до поры до времени, и все о нем.

По возвращении из классов отец постоянно засаживал нас учить уроки, что продолжалось целый вечер, так что редко-редко случалось играть на дворе или в комнате с братьями и сестрами. Пользуясь отсутствием отца, мы иногда убегали на задний двор, где предавались различным забавам и играм: дразнили собак, били камнями стекла в старой прачечной, обливали друг друга с ног до головы водою, или плевали в негодный, запущенный колодезь, с удовольствием выслушивая от-

¹ Прототипом автору послужил учитель немецкого языка К. А. Гаак. Только через 16 лет его „педагогической“ деятельности в саратовской гимназии обнаружилось, что он был по специальности мастер табачной фабрики в Риге, где он, совершив уголовное преступление, похитил паспорт, с которым и бежал в Россию. Здесь он сначала устроился учителем при кирхе, а затем по протекции — учителем в саратовской гимназии. Русского языка Гаак не знал, от учеников требовал зубрежки. Благодаря его близорукости ученики широко пользовались шпаргалками.

даленный звук падавшей в воду слюны. Вообще, действуя в подобных случаях тайно, и, следовательно; предоставленные самим себе, мы часто выделявали такие штуки, за которые журила нас даже няня, позволявшая обыкновенно нам очень многое. Но главная наша забава состояла в ловле свиней, в которой мы, впрочем, только помогали нашему кучеру, Сергеичу. Дело было в таком роде:

Так как казенного хлеба было вдоволь, то отец рассудил обзавестись тройкой свиней: одной мужского пола и парой женского. Свиньи жили в сарае, около конюшни, откуда выпускали их раз в сутки погулять. Надзор за прогулкой свиней был вверен кучеру, Сергеичу, которому, кроме того, строго было приказано не пускать их на огороды, где они могли бы принести большой вред посеянным овощам. Но, как нарочно, каждый раз нечистые животные убежали уже против воли своего гувернера и принимались с яростью взрывать гряды. Бедный Сергеич, не имея сил обратно вогнать их в сарай, придумал следующее, простое, но весьма верное средство: он брал багор и бежал с ним на огород, где нагнавши одну из беглянок, вонзал крюк в ее тело и со страшными проклятиями оттаскивал жертву в сарай; за ней—другую, потом точно так же и третью. Но так как история эта повторялась каждый день, а Сергеич был человек ветхий, то, наконец, совершенно выбившись из сил, он попросил нас помогать ему в этом деле, на что мы, разумеется, согласились с великою радостью.

Кроме такого невинного развлечения мы нередко пускали змеи, играли в бабки и занимались различного рода гимнастическими упражнениями, то вертясь на колесном колесе и, рискуя быть сброшенными в воду, то прыгая с сеновала на высоте трех-четырёх сажень...

Время между тем быстро шло вперед, увеличивая с каждым днем количество приятных и безотрадных фактов: сегодня море забвения уносило вчерашнее, завтра — сегодняшнее.

Наконец, наступила осень. Утром, в один из ненастных, туманных дней, отец разрешил мне и брату отправиться на площадь, где должно было совершиться наказание плетью четверых убийц. Мы тотчас побежали и взобрались на леса, приложенные к вновь строящейся церкви, откуда могли весьма удобно наблюдать весь ход дела.

Когда мы возвратились домой, матушка и няня были в совершенном негодовании и называли нас жестокосердыми и палачами; отец, напротив того, радовался, что мы, наконец, видели наказание, уверяя, что „на войне и не того еще насмотришься“.

— Эх, Миша, мой батюшка, что ты над собой делаешь? — вздыхая, твердила няня. — А я все, старая дура, думала, что ты у меня добрый да любящий; — с грустью прибавляла она.

Я не обращал на старуху никакого внимания, зная ее привычку на всех и на все плакаться. „Ведь может быть такую вещь придется видеть один раз в жизни, — думал я, — так отчего и не посмотреть.. Да притом, что ж тут такого? — преступник... ну, и секут..“

В гимназии между тем происходила страшная тревога: — ждали ревизора, да еще не одного, а двух разом. У дверей поставили швейцара, лестницу покрыли ковром, полы натерли воском, пансионерам прибавили лишнее блюдо и улучшили остальные, — словом, везде порядок и чистота на диво! После недели мучительных ожиданий, от которых вся гимназия, как говорится, спала с тела, наконец явились ревизоры. Один был толстенький, низенький, с постоянной потребностью сна, другой — высокий, сухой, большеголовый, с шишками на лбу и темени, — первый филолог, второй — математик. Директор и инспектор постоянно стояли в их присутствии и низко кланялись, когда особы обращались к ним с речью; учителя совершенно уничтожались присутствием ревизоров и смиренно выстаивали по несколько часов позади их кресел, отвешивая пренизкие поклоны в их спины, или бегали то туда, то

сюда, согласно начальнической воле. Нас заранее запугали, и с прибытием ревизоров мы находились в таком страхе, что когда один из них вздумал поцеловать моего товарища, хорошо отвечавшего из грамматики, мальчик вдруг заплакал, вообразив бог знает что. Надзиратель, Макар, на все имевший свой взгляд, уверял, что дурных учеников ревизоры будут отдавать в солдаты: „так от правительства приказано“, — прибавлял он. Мы мало верили такому предсказанию, однако, почему-то побаивались ревизоров. Но так как, на этот раз, все внимание их было обращено, по преимуществу, на высшие классы, то нам редко удавалось их видеть: раз только спрашивали некоторых из нас из арифметики да в другой раз из грамматики, — вот и все... Особенно радовался приезду ревизоров брат. Он хорошо понимал, как бояться их директор, инспектор и учителя, и потому не пропускал случая насолить своим прежним врагам, зная, что теперь он свободен от наказания. Одному учителю, прежде слишком угнетавшему его, он даже дал подзатыльник, на что учитель отвечал красноречивым молчанием, выжидая случая отомстить обидчику.

Ревизоры, хотя и нашли гимназию в удовлетворительном состоянии, однако, почему-то сменили инспектора, назначив на его место какого-то бывшего учителя. Новый начальник¹, в первый раз посещая классы, счел долгом объявить своим подчиненным, что управление свое основывает на розгах, и что ленивые ученики не должны ждать от него пощады. „Прилежные и нравственные дети найдут себе награду в своих успехах и поведении, — говорил он, — а ленивцы будут достойно наказаны мною. Указание на такое обращение с дурными учениками, — прибавлял он, — я вижу даже в местной при-

¹ Прототипом автору послужил инспектор С. И. Левандовский. Вот все то, что рассказывает о нем в своих воспоминаниях брат автора: у него была „страсть к ежедневным поркам учеников за пустячные провинности и грубость обращения, доходившая до мордобития“.

роде, произрастающей для того огромное количество березняка“, — и инспектор улыбался, обращаясь к сопровождавшему его Макару. Приезду ревизоров мы также были обязаны тем, что толки о переделке гимназии наконец осуществились, и нас, на время, перевели в дом какого-то помещика.

Академический год, между тем, кончился; я и брат были переведены в следующие классы. В новой гимназии второй класс, в который я перешел, был помещен рядом с третьим, в двух смежных комнатах, отделенных одна от другой колоннадой. Разумеется, мы сейчас воспользовались таким приятным соседством, как нельзя лучше... В каждую малую перемену мы производили атаки то тем, то другим классом, а в большую — начиналось генеральное сражение, в котором участвовали аматеры из других классов, в качестве начальников отдельных отрядов или даже полководцев. Дело иногда доходило до того, что сторожа должны были силою разгонять сражавшихся, после чего, разумеется, виновники боя, а иногда и победы, наказывались розгами. Сначала все дело шло на кулаках, но впоследствии стали употребляться дубовые или березовые палки, и только, спустя уже слишком долгое время, когда в свалке избранные храбрецы с той и другой стороны начали резаться на ножах и кинжалах, причем, разумеется, не обошлось без кровопролития, — начальство решилось положить конец развивавшейся марсомании, воздвигнув между классами перегородку. С наступлением весны война возобновилась снова на дворе, где три низших класса, подкрепляемые содействием седьмого, осаждали гору, защищаемую совокупными силами остальных трех классов. Надзиратель, Макар, принимал во всем этом самое деятельное участие, командуя осаждающими. Иногда воины той и другой стороны были сбрасываемы с отвесного бока горы, на высоте двух-трех сажен, за что некоторые из них получили к организму прибавки на всю жизнь в виде шишек, рогов, горбов и проч. Надзиратель утешал раненых, уверяя,

что на войне стыдно плакать, и страдальцы, забывая боль, снова бросались в отчаянную атаку. Наконец назначен был штурм; Макар ходил по классам и поощрял воинов. В двенадцать часов осажденные уже стояли на горе, запасшись на всякий случай палками и камнями; осаждающие густыми толпами расположились перед крепостью, имея впереди себя Макара со штабом. По данному знаку войска двинулись в стройном порядке, тихим шагом. Надзиратель шел впереди со свертком бумаги в руке, изображавшим подзорную трубу. Что было дальше?.. Не могу сказать, потому что сам участвовал в свалке и потерял полу сюртука; но через десять минут поле битвы представляло такую картину: под горою лежали фалды надзирательского фрака и несколько пуговиц; двое учеников терли медною монетою огромную шишку, вскочившую на лбу главнокомандующего, который утирал пестрым платком разбитый нос; осаждающие и осажденные, перемешавшись вместе, толпились около надзирателя, каждый предлагал свои услуги. Этим незабвенным днем штурма война окончилась, тем больше, что через день после него в гимназии произошла следующая история, наделавшая много шума в городе.

Какой-то ученик пятого, кажется, класса пропустил несколько уроков, по болезни. Инспектор послал к нему на квартиру надзирателя, которому было объявлено от родителей ученика, что сын их не может посещать классы, потому что нездоров. Надзиратель передал эти слова инспектору, который не удовлетворившись таким ответом, взял с собою двух солдат и отправился на квартиру ученика, думая привести его в класс силой; к этому, как кажется, побудил его отъезд родителей больного, без которых он считал себя в праве распоряжаться их сыном, как ему угодно. „Ленивец“, как называл его инспектор, лежал в постели, когда он явился к нему.

— Почему ты не ходишь в класс? — спросил его инспектор.

— Вы видите, я болен, — отвечал ученик,

— Ты был болен, но теперь выздоровел, а в гимназию не ходишь, потому что лентяй, — возразил инспектор.

— Доктор, по крайней мере, запретил мне выходить из комнаты, — скромно заметил больной: — то же самое советовали и родители, — прибавил он.

— Доктор дурак и родители твои дураки! — с гневом закричал инспектор и приказал сторожам схватить больного и вести в гимназию.

Услышав такие слова, ученик быстро соскочил с кровати и ударил обидчика, после чего добровольно отдался в руки сторожей. Инспектор приказал связать его и торжественно повел полуодетого преступника в гимназию, крича и ругаясь. Процессия шла лучшими улицами города, причем инспектор, совершенно растерявшийся, задыхаясь от гнева и злости, кричал то на виноватого, то на бежавшую за ним толпу. В гимназии ученика посадили в карцер. Для исследования этого дела была назначена целая комиссия, которая отрешила инспектора от должности, а совершеннолетнего ученика предала в руки правосудия.¹

Вскоре затем мы перебрались во вновь перестроенную гимназию, и директор наш, хлопавший по собственному брюху, был переведен на какое то другое место. Новое начальство (тоже недурное в своем роде) стало энергически заботиться по крайней мере о возможных улучшениях, выбрасывая за борт весь хлам, вроде учителей грамматики, старого учителя латинского языка, французского языка и проч.

В домашней нашей жизни совершился в то же время важный переворот... Отца перевели из смотрителей тюремного замка в брандмейстеры (начальник пожарной команды), на место десять лет тому назад ослепшего старца, известного в городе своим хлебосольством и озорницей женой, управлявшей вместо него пожарной командой.

¹ Гимназист Фофанов, шестиклассник, был сослан рядовым на Кавказ, а инспектор уволен „на покой“.

Отсюда начинается более сложный период моей жизни... С переменою моим отцом должности переменялся и обычный ход нашей домашней жизни: завелись различные знакомства, всех нас, огулом, принялись учить танцам, музыке и французскому языку, — одним словом из нас намеревались сделать полезных членов общества, в котором мы, по выражению отца, „были бы отщепенцами“, если бы не учились французскому языку и танцам у отставшего от странствующих акробатов немца, и музыке у слепого органиста католической церкви.

III

Теперь мне уже 11-12 лет, — и почему бы кажется период, начинающийся хоть с этого времени, не назвать отрочеством? Да просто потому, что в этот период едва-ли хотя на иоту, изменился мой образ жизни, мое положение в семействе, мои понятия, наконец, закованные в тяжелые кандалы, дома и вне его. Под возрастными я понимаю не одно физическое прорастание; а нравственное едва-ли шло в параллель с физическим, как увидим из последующего рассказа (различных обломков знаний и сведений, привитых в гимназии и полученных дома, я не могу брать в расчет при слове развитие — да еще нравственно е!). Бывали, правда, добрые, светлые минуты и в моем прозябании, но они так и остались минутами, проблесками, не прибавляя, или почти ничего не прибавляя в умственную сокровищницу; а без таких подачек уму, что значат все возрасты, как не одно продолжительное детство?

Итак, поведем наш рассказ.

Собственный дом, в который перебрались мы из острога, находился на одной из лучших улиц города и состоял из главного дома,¹ отдававшегося в наем, и не-

¹ На Большой Сергиевской (Чернышевской), между Гимназической и Бабушкиным взвозом.

большого флигеля, в котором и поместилось все наше семейство. Не буду описывать устройство флигеля, но скажу только, что теснота была в нем такая, что даже отец заблагорассудил разделить детей мужского пола в нижний этаж дома, предназначавшийся прежде для кучеров и солдат пожарной команды, находившихся при отце в качестве денщиков, вестовых и прочих.



Дом Вороновых Рис. Л. Радищева.
(Дом-музей Чернышевского).

Мы заняли одну комнату, а кучера и солдаты поместились в двух других, смежных с нашею.

Такое соседство разумеется не осталось без последствий: в непродолжительное время мы научились играть в карты, в так называемую „подкаретную“ игру, курили махорку и довольно искусно украшали свою речь такими фигурами и оборотами, что даже сами кучера приходили в восторг. „Тверже нашего заворачивают...“ — рассуждали они. Действительно, я никого не знал из своих гимназических товарищей, кто бы развратился так рано и так глубоко, как мы.

Несмотря на жалобы, отовсюду приносимые на нас отцу, на различные наказания, которым подвергались

мы, с каждым днем проделки наши делались чаще и циничнее, потому что добрые наставники и руководители — кучера и солдаты, неумоимо подучивали и подстрекали нас. Так мы, по их наущению, ходили ночью красть голубей (голубиная охота была сильно развита в нашем городе), посещали кабаки и другие публичные заведения, ездили на лодке вынимать рыболовные снасти и красть рыбу и т. д. и т. д. Отец, хотя и наказывал нас за все эти проделки, мало обращал внимания на источник, из которого мы черпали все наши теоретические познания, и несмотря на все препятствия, пробовали их на практике.

Таким-то образом я и братья прожили довольно долго в слишком плохом обществе, рано узнав грязную сторону жизни.

Дом наш, как и всякий дом, имел при себе двор, на дворе — конюшни, каретник, погреба, баню и проч. Над каретником был выстроен мезонин, а около конюшни сидела на цепи собака, обреченная на вечную неволю и постоянно лаявшая на своих и чужих. Кругом двора располагались различные соседства: направо дьяконов двор, налево дом какой-то старушки-чиновницы, а на задах бесчисленное множество избушек под общим именем Бабушкина взвоза. Дьяконов двор весь был заставлен избушками, расположенными во всевозможных направлениях: одна смотрела маленькими окнами, как бельмами, украшенными бумагой, на середину двора, где росло какое-то дерево и стояла опрокинутая вверх днищем лодка, о которой уже лет пять тянулся спор между наследниками какого-то рыбака. Другая избушка как будто старалась перебежать ей дорогу, и вся наклонившись наперед, вот-вот, казалось, бросится с места; третья стояла весьма прилично, хотя была уже достаточно стара и на крыше своей произращала густую траву и подсолнечники. Эта избушка — чиновничья, потому что хозяйка ее, Трегубиха, была просватана когда-то, в молодости, за чиновника. Несколько лачужек стояло вокруг

помойной ямы, и злополучные хозяева их знай только покрикивали, почти вылезая из окошка: „не лейте, ради бога, дрянь-то перед окнами: все нутро воротит от вони!“ и некоторые из них лет по двадцати повторяли этот возглас... Над всеми избушками царила баня, не потому чтобы она была лучше их, или больше, или занимала особенно видное место, — нет, она была очень дряхла, мала была до того, что все стены и потолок были исхлестаны вениками, как только может исхлестать православный народ, имеющий неосторожность запариваться до смерти. Что, наконец, баня не занимала особенно видного места — явствует уже из того, что она, т. е. ее крыша и стены, служили местом гимнастических упражнений для всех и каждого, в том числе и для меня; а гимнастика, нужно заметить, не уважалась в то время между отцами и матерями... Итак, баня потому царила надо всем двором, что в ней жил сам дьякон, хозяин... Это был хромой, ветхий старик, живший анахоретом с воскресенья и до вечера пятницы, в которую он выбирался из бани на крышу (крыша какого-то сарая около бани была плоская), если дело было летом, или к родственникам, жившим на этом же дворе, если была зима. Часа в четыре, в пятницу, он обыкновенно собирал всех своих знакомых, и по совершении обильного возлияния бахусу, был уносим ими из бани на крышу или к родственникам. В эти дни мне только и случалось видеть труп дьякона; в остальные — он, по уверению благочестивых старушек, „спасался.“

О дьяконов дворе я распространяюсь особенно много потому, что он служил почти постоянным моим убежищем. Снимается ли нагайка с гвоздя — сейчас на дьяконов двор; уехал ли отец со двора — идешь на дьяконов двор заниматься гимнастикой на стенах и на крыше бани, или рыться в мусоре, наваленном в огромнейшем количестве повсюду. Так что когда, вследствие одного печального события, я боялся показаться на дьяконов двор, мне сделалось ужасно грустно, и я долго-

долго простаивал у забора, глядя в щель на милый, но недоступный двор.

С Бабушкиным взвозом, расстилавшимся позади нашего дома, я был знаком слишком мало: знал только дворик старика, путешествовавшего когда-то в Иерусалим, и другой — унтер-квартала, постоянно пьяного и уверявшего нас, что он над нами начальник, „потому, рассуждал унтер-квартал, сейчас в часть отведу, не посмотрю, что отец брахмейстер.“ Что же было делать с таким злым человеком? Лучше уж не ходить на Бабушкин взвоз...

Двор соседки чиновницы совершенно не привлекал нашего внимания, потому что на нем не было ни мусору, ни бани, но постоянно господствовала тишина. Иногда только сын чиновницы, напившись пьян, нарушал это спокойствие, потому что, желая погонять голубей, до которых был большой охотник, бросал целые бревна на крышу, стараясь спугнуть какого-нибудь турмана, не имевшего охоты совершить воздушное путешествие. На дворе поднимался тогда ужасный гвалт, после которого пьяный голубятник запирался матерью в чулан, — и опять наступала всеобщая тишина.

Широкая река, протекавшая недалеко от нашего дома, привлекала особенное мое внимание, потому что здесь я находился на совершенной свободе; за мной не следил ничей зоркий глаз, и ухо мое не слышало больше звуков родного голоса, тяжело отдававшихся в сердце. Летом я уходил на реку ловить рыбу, зимою — кататься на салазках, и выбравшись из дому, неохотно возвращался назад. Знакома была также мне и привольная степь, расстилавшаяся далеко за городом, куда я уходил гораздо реже, но где был еще счастливее, еще спокойнее.

Получивши место брандмейстера, отец был совершенно очарован новою должностью. Особенно его занимали лошади, а теперь их вдоволь, следовательно было над чем потешиться. Я говорю „потешиться“, — и действительно отец ужасно любил учить молодых лошадей, почему сам обучал вновь или переучивал всех пожарных

лошадей. Помощником себе в этом он выбрал пожарного солдата, известного своей силой, и при его содействии целый день занимался выезживанием и наказыванием безответных животных. Для себя он также накупил молодых лошадей, обучение которых принесло немало огорчения матушке, боявшейся, что отец искалечит как-нибудь себя. Матушка пробовала даже передавать свои опасения отцу, но он грубо заметил, что это не бабье дело, следовательно, нечего и толковать.

По характеру, доброте, мягкосердечию матушка представляла совершенный контраст отцу. Положившая всю жизнь свою в семейство, она отличалась необыкновенною заботливостью о детях, рабскою покорностью мужу и необыкновенною гуманностью в обращении с прислугой, что даже не нравилось отцу, утверждавшему, что „по ее милости, люди делают что хотят“. Никогда я не забуду ее желтого, худого лица, постоянно озабоченного и печального; ее речей, постоянно тихих и нежных; ее кротких, задумчивых глаз, в которых светилось столько доброты, но доброты подавленной, запуганной. Бедная женщина только тихонько от отца позволяла иногда себе приласкать кого-нибудь из нас, боясь упрека в баловстве. Батюшка и матушка почти постоянно жили в ссоре между собою, т. е. отец не говорил с ней ни слова, а матушка боялась завести с ним речь и только по временам долго и пристально смотрела на него своими кроткими, умоляющими глазами. Зная придирчивый характер отца и не желая досаждать ему своим присутствием, матушка по большей части забивалась куда-нибудь в темный уголок и довольно часто плакала втихомолку. За обедом родители поневоле должны были сходиться вместе, и часто случалось, что кроткая женщина, долго сдерживавшая свою горе, наконец, разражалась истерическим плачем, к которому и мы присоединяли свои голоса, а отец тотчас уходил в кабинет, бросив с досады на пол несколько приборов и проклиная все и всех. Такие припадки накопившегося горя всегда стоили матушке слиш-

ком дорого, потому что после них целые недели она вылеживала то в бреду, то в летаргии. Да, тяжелая участь выпала на ее долю!

Но вот наступал какой-нибудь праздник, в который, по убеждению отца, „нужно было мириться даже с врагами своими“. Как радовалась матушка такому дню! Как хлопотала, бегала она везде, стараясь угодить отцу! К обеду приготовит любимые его кушанья, после обеда ходит на цыпочках сама и просит нас делать то же, чтобы не разбудить любимого и простившего ее мужа. Она знает, что таких дней немного выпадет на ее печальную долю, и потому старается по возможности больше запастись радостью, которую завтра же сменят горе и слезы. Весело улыбается она теперь, глядя на все, и горячо целует своих детей, едва ли вполне разделяющих ее радость. В самом деле, едва только проходил праздник, отец сейчас же снимал с себя тяжелое обязательство, и опять...

В числе сослуживцев отца по полиции находился один пристав, обремененный подобно отцу многочисленным семейством. Пристав и отец довольно скоро подружились между собою и решились образовывать своих детей совокупными силами. Прежде всего, рассуждали они, нужно научить их танцам и французскому языку, без которых человек—не человек.

Как-то вечером приехал к нам пристав и объявил отцу, что учитель найден.

— Где вы его откопали?—спросил отец.

— Да мне рекомендовал его мой письмоводитель, — отвечал пристав.

— Это хорошо, — заметил отец.

— Письмоводитель говорит, что он ловко танцует; да же, говорит, ему можно экзамент произвести.

— Без этого нельзя: кто его знает, каков...

— Да и дешево берет, — распространялся пристав: —

четвертак за урок, только водки, говорит, уж в волю давайте...

— Этого добра нам не покупать-стать.

— Он, видите ли,—таинственно начал пристав,—прежде акробатом этим был, ну и все эти штуки отменно знает, потому что они там чорт знает что делают: и по канату ходят и через голову ломаются; следовательно, я полагаю, для танцев он хорош будет.

— Должно-быть хорош будет, — почти утвердительно изрек отец.

— Отличный будет,—с достоинством произнес пристав, и приятели чокнулись. Через несколько дней, часов в шесть вечера, мы отправились к приставу, где должно-ствовало произойти испытание.

Учитель был низенького роста, лупоглазый, широко-плечий, с одутловатым лицом и красным носом. Отцу он очень понравился, потому что много рассуждал с ним о военной службе и уверял, что военные в танцах „собаку съели“.

— Как же вы их будете учить танцам, когда они настоящей выправки не имеют?—рассуждал отец.

— Это ничего,—заметил учитель.—Мы будем в одно время проходить и танцы и выправку; без этого нельзя. У меня теперь каждый ученик, можно сказать, ноги будет на шею закладывать, выворачивать их носками назад и все такое, потому что я, можно сказать, все кости в нем поизломаю и поывывихаю.

— То-то, это главное, чтобы подвижность то есть имел.

— Я ведь теперь, можно сказать, прежде всего смотрю, как сложен человек: если у него ноги не годятся для танцев, я должен их переделать, это уж мое дело—на то я учитель.

Объяснения тянулись довольно долго, и так как от времени до времени они прерывались употреблением всевозможных водок, то наконец учитель дошел до того, что начал рассказывать, как он был в Париже первым балетмейстером, а оттуда через океан по железной до-

роге ездил в Америку. Пристав и отец, чтобы не упустить время, предложили учителю показать им свое искусство, видя, что через час он уже не будет никуда годиться. Старший сын пристава, юноша лет восемнадцати, воспитывавшийся в уездном училище, взял гитару и с некоторой застенчивостью начал наигрывать „чижика“, а учитель, засучив рукава, пустился выделять такие штуки, что становилось страшно за него. Он держал в руках платок, которым размахивал во все стороны, то медленно переваливаясь с ноги на ногу, то бешено бросаясь из угла в угол, отчего половицы гудели и дрожали как под конскими копытами. Долго бесновался учитель, прыгая по комнате; долго отец и пристав смотрели на него с немым восторгом, а матушка, жена пристава и мы, дети, с ужасом и недоумением; наконец, сделавши отчаянный прыжок, учитель не мог удержаться и полетел навзничь. Раздался хохот, и торжествующего учителя повели к столу, уставленному графинами и бутылками.

— Ну, а по-французскому научите их? — спрашивал отец учителя.

— Всему научу! Я все языки знаю, даже арабский знаю, — бормотал учитель, беспорядочно болтая руками и ногами.

На следующий же день началось наше ученье. Раза по три в неделю мы обучались отдельно каждым семейством, а по воскресеньям назначались общие танцевальные вечера у нас или у пристава. Французский язык как-то плохо подвигался вперед, потому что учитель, как оказалось, знал только *mon cher, s'il vous plait*¹, да и то последнее выражение относил по преимуществу к водке. Кроме различных кадрилей, экосезов, полек и прочего, нас заставляли разучивать множество характерных танцев, на которые матушка не могла даже смотреть без

¹ Мой дорогой, пожалуйста.

сожаления, видя как пьяный учитель выворачивал наши ноги то туда, то сюда.

Между тем, одна из сестер, подвергавшаяся вместе с нами танцевальным мученьям, была отдана в пансион, а для других сестер, старшего брата и меня нанят был учитель музыки, слепой органист католической церкви. Но сколько ни бился с нами слепец, отсутствие музыкальных способностей в нас наконец заставило-таки его отказаться от уроков. Отец был крайне огорчен отъездом слепца о наших способностях и все-таки пригласил нового учителя, который на этот раз посоветовал мне вместо фортепьян заняться скрипкой, уверяя, что руки мои слишком способны для того. Почти два года учился я на скрипке, и опять в результате—отсутствие музыкальных способностей.

В числе несчастных, учившихся вместе с нами танцеванию, находилась внучка одного купца, содержавшего торговые бани и трактир. Старик-купец жил постоянно в самых патриархальных нравах и отличался необыкновенной старостью и силой, о которой и рассказывал постоянно. Некоторые опыты его силы я видел собственными глазами: так, он ставил сороковую бочку с маслом на попу (вертикально, на дно), свободно ломал две подковы и прочее.

— Я в жизни моей никого не ударил, — обыкновенно рассказывал о себе дедушка.—Да как и ударить-то? Народ мелкий—сразу убьешь. А в торговле, господа честные, без этого не обойдешься: вот и стражду сам от себя!..

— Один раз,—продолжал он,—жена меня больно допала, вот я ей и поднес оплеуху, она так и покатилась. Я в полицию... Прибегаю... Так и так, говорю, жену убил—выручайте. Пошли мы с приставом домой, а она, полк ее уешь, сидит да лается: вот какая, чорт, живущая была! Да, пострадал я от нее, покойницы, доняла!..

Часто отец, от нечего делать, ездил к этому купцу в баню и брал с собою кого-нибудь из нас. Потом мы от-

правлялись к старику-хозяину и начинались рассказы с той и другой стороны: отец все про военную службу, купец — про старинное житье-бытье. Дедушка, подобно главе стоиков Сенеке¹, ежедневно ходил в баню, с тою только разницею, что древний философ делал это по нескольку раз в сутки, а старик только один раз, кроме субботы: тогда два.

— Да что! Ходишь один-одинешенек, инда дурь тебя возьмет,—ну, пойдешь в баню да и выпаришься, да еще скипидарцем помажешься, вот оно и ладно. А в субботу так зависть тебя одолеет, так бы все и сидел в бане,—вот потому и хожу в субботу два раза.

Старик всегда упрекал отца за неумение пить водку.

— Вы, молодые люди (отцу было тогда 65 лет), дрянь! Как мы были в ваших летах, по четверти выпивали зараз; а вы проглотите десятка полтора-два рюмок, да и с ног долой: это не дело...

Постоянно враждуя с откупом, сильно притеснявшим всех трактирщиков, он сам признавался, что раз даже нагнал на откупщика лихорадку,—«все по ветру сам пустил»,—прибавлял добродушный купец.

Большой приятню отца пользовался также его предместник, слепой старик, выслужившийся из рядовых. У старика была бойкая, сварливая жена, известная в городе под именем „озорницы“ и управлявшая в последнее время вместо своего мужа пожарной командой. Семейство старого брандмейстера состояло кроме того из сына и двух дочерей, из которых одна только-что вышла замуж и поселилась с мужем в главном нашем доме. Семейство брандмейстера посещало нас довольно часто, и в этом-то кругу впервые должны были устанавливаться мои понятия: тут в первый раз я услышал те суждения, выводы и взгляды, которые выработались тогдашним провинциальным обществом. Старый брандмейстер и его семей-

¹ Сенека, Л. А. (3 до хр. э.—65 хр. э.), римский философ.

ство считались тогда далеко не последними членами нашего общества, а между тем, из нескольких фактов, которые я приведу сейчас, легко будет видеть, как далеко ушло тогда это общество в своем умственном развитии.

Часто случалось нам скромно просиживать долгие вечера в обществе старсго брандмейстера и всего его семейства. Как люди военные, отец и брандмейстер побывали в различных кампаниях, откуда и унесли с собою чудесные воспоминания о различных диговинках. Зять брандмейстера, которого судьба бросала и в Малороссию, и в Архангельскую губернию, и в Якутскую область, тоже присоединял свой звучный голос к рассказам отца и брандмейстера; увлекаясь, за ним голосила старая брандмейстерша, а за нею, разумеется, плелись и ее дочери—тоже смышленные девицы. Чего-чего, бывало, тут не рассказывается! И о киевских ведьмах, и о колдунах, и о проклятых, обреченных на вечную ожитальческую жизнь, и о громе, и об отводе глаз фокусниками,—одним словом, если бы вы желали получить превратные понятия обо всем, вы бы послушали рассказы наших добрых знакомых.

— Ведьмы, говорят, никогда пешком не ходят,—замечал старый брандмейстер.

Отец и зять брандмейстера, а за ними и мы все начинали хохотать.

— Что вы смеетесь? — возражал слепой. — Я сам не верил прежде, а теперь знаю, что это правда. У нас был солдат Захарченко, так сам видел, как ведьма ехала на курице, ей богу!

— Нет, кажу, этого не может быть,—вступался зять, язык которого сохранил еще некоторый малороссийский оттенок.

— Бывает, бывает, — прерывал его отец,—многие видели...

— Я потому и говорю, что видел, — утверждал ободренный слепец: — я сам много ведьм видел, — прибавлял он наконец.

— Это ведьмы верхом ездят?—наивно спрашивал кто-нибудь из нас.

— Верхом, верхом,—нетерпеливо отзывался отец.

Матушка боязливо посматривала то на невинного расспросчика, то на отца, начинавшего уже хмуриться.

— А на лошадях верхом ведьмы ездят?—допытывался тот же любопытный.

— Ну, полно врать-то! резко — замечал отец. — Когда же баба ездит на лошади верхом?.. Вечно суетесь с своими глупостями. Вы бы молчали да слушали, что старшие говорят; а эти пустяки у няньки можете расспрашивать!

Ну, и присмирееет любопытный, и дожидается, что скажут старшие; а они не заставят долго ждать себя.

— Вон, когда я был в Якутской области, так там все на собаках ездят,—рассказывал зять брандмейстера.

— В Англии, читал я в газетах, на крысах почти скоро будут возить — больно шибко бегают; на птицах уж возят, да теперь новый король родился, так на крысах приказано,—опять рассказывал седой и слепой брандмейстер.

— Там один лорд все на медведях ездит,—ввертывал звучным голосом зять.

— Эх, у нашего полкового командира славный медведь был!—вступался отец.

Разговор на некоторое время переставал быть общим и только изредка слышалось, как замужняя дочь брандмейстера рассказывала матушке о своем петербургском деде.

— У него по сто человек генералов одних бывает каждый день—все обедают.

Но не умея сообразить своих слов с действительностью, тотчас же отпускает такую фразу:

— Богач, одно слово... По шести тысяч на серебро проживает в год: ведь это, сообразите, двадцать с чем-то тысяч, говоря по нашему.

И опять молчание.

— Нынче облако над нашей крышей так низко прошло, что я испугалась, — решалась наконец выговорить младшая дочь брандмейстера.

— А вот задело бы за крышу и своротило напрочь, — резонно замечала ее матушка.

— Нет, не своротит, — вступался зять.

— Как не своротит? Своротит! — утверждала опять брандмейстерша.

— Ну, меня-то вы, кажу, не уверите: я ведь видел облако-то.

Все смотрели на рассказчика с недоумением.

— Когда я был еще мальчиком, — продолжал он, — так у нас облако в поле упало, мы и побежали смотреть: так оно мягкое, как кисель; мы даже палками тыкали в него.

Против такого аргумента, разумеется, никто уже не мог возражать, и все остались в полной уверенности, что облако похоже на кисель.

Слушаешь-слушаешь, бывало, подобные рассуждения старших и придешь наконец к такому заключению, что с кучерами хоть и не толкуешь о подобных возвышенных предметах, а все как-то веселее и отраднее.

Кроме этих знакомых отец имел еще многое множество чиновников, с которыми водил хлеб-соль вследствие служебных обязанностей, а матушка — целую кучу различных старушек, уважавших ее за доброе сердце и гостеприимство. Из старушек, посещавших матушку, особенно живо сохранился в моей памяти образ одной доброй, пожилой майорши, постоянно посещавшей матушку во время болезни, что случалось очень нередко, и искренно сочувствовавшей незавидному положению ее в семействе. Часто проживала у нас тоже по целым неделям какая-то девица, которая знала почти весь город, ходила по делам, разносила сплетни — но никто не знал, кто она такая. Постоянного жилища у ней не было, и она блуждала из дома в дом; и как только наскучало ей в одном месте, она сейчас же сочиняла про него

сплетню, распускала ее по городу и, выгнанная за это, отправлялась в другое, обвиняя только что покинутый ею дом в невежестве, грубости и недобросовестности относительно ее. Так кочевала эта бедная девица до самого отъезда моего с родины и все оставалась таинственной и неразгаданною.

Не всегда впрочем отец был строг и недоступен: иногда и на него находили добрые минуты, в которые он разговаривал и смеялся с нами, позволяя даже маленьким сестрам трéпать свои усы и бакенбарды. В одну из таких минут мы даже сумели как-то упросить его свозить нас в театр¹. Дело было на масленице, когда в театре давались два спектакля: утренний и вечерний. Нас повезли поутру. В кассе театра отец выторговал кажется полтину, и вот мы вошли в ложу. Небольшой, грязный зал освещался десятью или двенадцатью масляными лампами, отчего в креслах и глубине лож царствовала тьма, а в райке (галлерее) слышны были только глухие голоса, из которых можно было заключить о пребывании там людей. Кусок дырявой, некогда раскрашенной холстины беспорядочно болтался то туда, то сюда; в оркестре сидело счетов восемь человек музыкантов, втечение целого часа занимавшихся настраиванием своих инструментов, — впрочем публика не обращала особенного внимания на этот раздражающий душу визг и рев. Занавес колебался и медленно стал подниматься вверх, и когда совершенно исчез за драпировкой, послышался резкий возглас: „довольно!“. Что давали в то время, не могу припомнить. Могу сказать только, что первое действие прошло совершенно незамеченным публикою и непонятым мною. Но, вероятно, давалась драма, потому что после нового поднятия занавеса и нового крика „довольно!“ на сцену явился господин в каком-то гнедом плаще и чернобурой шляпе, свирепый и громогласный

¹ Воронов, вероятно, говорит о том деревянном театре, который сгорел в начале 60-х гг. На его месте был выстроен в 1865 г. новый (ныне Обл. театр оперы и балета им. Чернышевского).

до того, что маленькие сестры юркнули в глубину ложи и не решались выйти оттуда. Он бродил сначала в совершенной темноте и все чего-то искал, алкая и рыкая. Наконец, остановившись у слабого подобия рампы, гнедой трагически произнес: „затворите двери!“ Дрожь пробежала по моему телу при этом реве. „Принесите свеч!“ — опять рыкнул актер, и сестры начали хныкать в глубине ложи. Что дальше было, не помню хорошенько. Помню только, что тут является какая-то госпожа и останавливается в дверях. Герой наш, стоя на авансцене, свесивши руки, громко произносит, увидевши ее: „Приди и мой объятия!“ — „Ах, не обнимай меня так больно!“ — ошенигивает госпожа, ухватившись обеими руками за юбку платья, и, делая книксен, продолжает стоять в дверях. После второго акта занавес как-то рухнул и на сцене послышался опять прежний резкий голос. Раздались было аплодисменты, но голоса будочников скоро заглушили все. Следующие акты драмы прошли совершенно так же, т. е. я ровно ничего не понял. После драмы давался какой-то водевиль, который, помню, мне понравился; но сестры никак ни могли успокоиться и со слезами просили отца ехать скорее домой.

Должность отца, как брандмейстера, была крайне беспокойна, потому что пожары в то время случались то и дело, днем и ночью, и шестидесятипятилетнему старику нужно было скакать, сломя голову, куда-нибудь на конец города. Мы почти всегда сопровождали отца, тихонько от матушки убегая вслед за ним. Раз, помню, горел винный завод; мы побежали туда. Дело было в конце июля. Пришедши на пожар и достаточно налюбовавшись им, мы отправились в фруктовый сад, принадлежавший тому же винному заводу, воровать яблоки. Нас было несколько человек; одни влезли на деревья и рвали яблоки, другие остались на земле и собирали. Когда мы уже собирались отправиться с захваченной добычей и перелезали через забор, вдруг были остановлены неизвестно откуда явившимися казаками. Кто-то

из бывших с нами соумышленников, желая избежать неприятной истории, объявил казакам, указывая на нас, что мы дети брандмейстера. Гонители наши тотчас отвели нас всех к отцу, а сей, отложивши на некоторое время заботу о прекращении пожара в сторону, отвел нас на какой-то двор и с помощью казацких нагаек тут же учинил расправу над своими и чужими. Через несколько времени, когда зашел к нам один чиновник, сын которого был наказан отцом вместе с нами, отец мой очень вежливо извинился перед ним, что распорядился без его спросу.

Каждый день поутру отец ездил рапортовать полицеймейстеру о состоянии пожарной команды, а оттуда, вместе с частными приставами, отправлялся куда-нибудь выпить водки; часа в два он обедал дома, затем отдыхал часов до семи, а остальное время дня проводил двояким образом: или читал дома молитвенник и псалтирь, если дело было зимою или осенью, или сидел на скамейке у крыльца, если было летнее или весеннее время. Мы были свободны только в отсутствие отца и, разумеется, делали что хотели; при нем же, по большей части, укрывались в своих комнатах или усаживались вокруг матери в ее спальне.

Если заболел кто-нибудь из нас, отец сейчас же принимал в больном живейшее участие и делался его медиком и куратором на все время болезни. Лекарства, даваемые отцом в этом случае, были очень незамысловаты: так от лихорадки всегда лечил он раковыми жерновками, которые предварительно измельчались и потом давались больному в водке. Корь и оспу ничем не лечили, а только привязывали руки больного, чтобы он не чесался. Случалось кому-нибудь разрезать ногу или проломить голову (а это случалось), — сейчас наливали в рану березовой водки и на вопли несчастного коротко отвечали: „а я вот еще высеку, когда рана-то заживет, а то теперь неловко“. Рана, с божьей помощью, заживала и обещание сдерживалось.

Так и жили мы изо дня в день; иногда только праздники доставляли некоторую отраду. Пасха, разумеется, была самым веселым праздником. На страстной неделе отец обыкновенно собственноручно закалывал свинью, потрошания и мучения которой прежде смерти тянулись иногда по целому часу. Кажется все горло изрезано в мелкие кусочки, и отец поворачивает в ране нож то туда, то сюда, но едва только кучера и солдаты выпустят из рук уши и ноги несчастного животного, как оно вскочит и побежит.

— Эту не зарежете в горло, ваше благородие, — рассуждает какой-нибудь солдат, — уж такая попалась, ее надо колоть под левую лопатку.

— Полно врать-то! — перебивает его отец, отряхая с рук запекшуюся кровь, и приказывает вновь поймать и привести свинью.

Ее снова ловят и отец, хотя и отвергавший доводы солдата, начинает однако колоть „под левую лопатку“.

После заклания отец сам же начинает свежить свинью и потом делить ее на части, причем окорока сначала солит, потом коптит в дымовой трубе, после чего никто не решается их есть, потому что они ужасно воняют дымом.

Но вот приходит наконец самый праздник. Отец будит всех к заутрене, наряжается в полный парадный мундир, всех одевают тоже в парадные платья, — и мы идем в церковь. Я смотрю в лицо матушке и не узнаю ее: на губах играет улыбка, глаза блещут как-то весело, даже цвет лица как-будто переменился. Отстаиваем заутреню, за ней обедню, и с радостью, именно „веселыми нотами“, бежим домой. А тут стол уже ломится под разными яствами и питьями.

— Ну, Христос воскресе! — произносит отец, крестясь перед образом.

Мы тоже крестимся.

— Ну, Христос воскресе! — опять повторяет он, обращаясь к матушке.

Родители трижды целуются, и я вижу слезу радости, блеснувшую на реснице матушки.

Затем отец и матушка христосуются с каждым из нас. Тут уж и пойдет закуска!

— А что, мать, ведь хороши колбасы я изготовил? — говорит отец, — ты пробовала их? — прибавляет отец, обращаясь к матушке.

— Хороши, очень хороши, — похваливает матушка, для которой теперь все хорошо, — очень хороши.

— Только слишком солонь да перцу много — горько! — говорит сестра.

— Это ничего... Перец и соль полезны для человека — их много и нужно, — мягким голосом объясняет отец.

Закусишь, пойдешь на качели или просто на улицу, посмотреть, как ездят с визитами, или яйца катать по лубочку вздумашь, или в козны играть... как все весело теперь!

Рождество христово также составляло большой праздник для нашего семейства; а накануне крещения мы вместе с отцом ставили кресты на дверях и окнах, чтобы нечистая сила не ввалилась в комнату. Еще большой для нас праздник был Илья пророк, потому что этот день считался праздничным в пожарной команде, имевшей образ Ильи пророка. Все части съезжались на наш двор, где солдаты угощались вином и закуской, а для высших полицейских властей устраивалась закуска или даже целый обед.

Для каждого из нас праздники были величайшей отрадой, потому что тогда мы получали несколько больше свободы и гораздо реже подвергались замечаниям от отца, принимавшего в праздники более доступный и веселый вид.

То, что я говорю о себе, совершалось в такой же степени и относительно моих братьев и сестер, потому что обстановка наша зависела от отца, а для него, как выражался он, „не было ни любимых, ни нелюбимых детей: все одинаково равны“. Следовательно, братья и сестры,

Хотя и отличавшиеся от меня по характеру и наклонностям, в сущности должны были выйти совершенно тем же, чем вышел и я, потому что жили при одной и той же обстановке..

Но не пора ли сказать что-нибудь о гимназии, этом систоче науки, блиставшем для меня в юдоли плача и скорби?..

IV

Реставрированная гимназия, с новым начальством и реформами им произведенными, едва ли далеко ушла от прежней, ветхой, полуразвалившейся, с ее пузатым директором и готтентотскими нравами. Правда, некоторые внешние изменения придали ей более приличный вид; но не этого нужно было для гимназии, требовавшей коренных, глубоких преобразований, на которое новое начальство не было способно по своей недалекости.

Рассказ мой, уже потерявший последовательность, теперь кажется должен совершенно отказаться от нее, потому что мне хочется сделать возможно полный очерк гимназии, оставив на некоторое время в стороне домашнюю жизнь, к которой впрочем я возвращусь в конце главы.

Новый директор¹ — высокий, сутоловатый мужчина, средних лет, с лицом, носящим на себе отпечаток бурно проведенной молодости, отчего и голос его отличался каким-то неприятным, гнусливым тембром, принадлежал к числу провинциальных аристократов-чиновников, имеющих похвальную привычку ничего не делать, на подчиненных смотреть свысока, топорщиться от самолюбия и прочее. На гимназию он мало обращал внимания, потому

¹ Прототипом автору послужил директор гимназии А. А. Мейер (1851—1862). Это был, по словам официального историка, „человек болезненный и мстительный; ученики называли его ужасным словом „моторщик, рваные поздри“. Мейер был личность недосыгаемая, „классак, и вообще в гимназии он появлялся лишь иногда“.

что его чин и место не позволяли „вертеться с мальчишками“, которых „выпороть может и инспектор“; да кроме того и времени не было для этого, потому что клуб, карты и знакомство с высшими городскими властями поглощали все часы дня и ночи, так что бедняжке некогда даже было выпастись. До какой степени был простоват наш новый начальник, можно судить по следующему факту.

В числе членов клуба, в который поспешил записаться директор, находился столоначальник или секретарь какой-то палаты, прежде бывший его учеником. Пересматривая как-то список, новый наш начальник с ужасом увидел, что он поставлен в обществе на одну доску со своим учеником — да по списку членов еще ниже его!.. Тут как-то скоро случилось собрание членов и старшин, и злополучный директор объявил им, что принужден выйти из клуба, „потому что не намерен стоять на одной ступени с человеком, которого порол из собственных рук“... Как ни просты были его слушатели, но такое киргизкай-сацкое мнение поразило их до того, что кто то заметил директору, что „клуб ничего не потеряет с его выходом“...

Другой факт.

Одному из моих товарищей случилось проходить мимо дома одного из местных бюрократов, где под окном сидели хозяин и директор. Ученик почему-то не поклонился. Пришедши в класс, директор разбил его за такую дерзость.

— Я близорук, — заметил ученик.

— В таком случае ты должен всегда снимать шапку перед домом его превосходительства, потому что ты не видишь, есть ли кто под окном, или нет...

Множество фактов подобного рода, прямо вытекавших из субъективной недалекости директора, скоро подорвали даже то небольшое уважение, каким сначала пользовался он в гимназии, а в обществе он сделался предметом постоянных насмешек, причем впрочем попрежнему сохранял свой гордый, недоступный вид. В гимназии бес-

престанно рассказывали о нем различные анекдоты, пародировали его голос и манеры и, наконец, окрестили незатейливым именем Олѣхи, поставив его таким образом наряду с Петькой, Митькой-Сайгой, Макарой и прочими.

Совершенно иной человек был инспектор,¹ захвативший в свои руки управление гимназией и производивший различные реформы, долженствовавшие, по его мнению, иметь благотворное влияние на внешнюю и внутреннюю жизнь заведения. Энергии в нем, правда, было довольно много, но что значила она при его взгляде на воспитание? Могли ли привести эти крайние, дикие меры к каким-нибудь добрым, порядочным результатам?.. Прежде всего, увидевши, например, что учителя ничего не делают, он или заставил их заниматься, или вытеснил в отставку совершенно уже не способных делать хотя что-нибудь. И, действительно, многие из прежних наших наставников принялись за дело, но принялись из под палки, по принуждению, давно уже потеряв и охоту, и умение учить чему-нибудь, почему положение учеников сделалось до крайности тяжелым. Начались строгие преследования ленивцев, для возбуждения которых инспектор употреблял розгу, и гимназия превратилась в какую-то кордегардию, откуда то и дело слышались вопли и крики. Кроме наказаний за уроки, наказывали за всевозможные проделки, о которых инспектор узнавал от различных шпионов, выбранных из сторожей и учеников. С каким варварством и невозмутимым хладнокровием производились эти наказания, можно судить по следующему случаю, — случаю, каких наберется не один десяток.

Мальчик, лет четырнадцати, бывший кажется в третьем классе, плохо учился из немецкого языка. Инспектору надоело сечь его за каждый невыученный урок, и вот он при-

¹ Прототипом автору послужил инспектор Э. А. Ангерман (1849—1857). Вот характеристика официозного историка гимназии: он „был маленький, желтый, худой, с мелкими некрасивыми чертами лица, сердитый, настоящий падач; он сек учеников даже сам... На гимназическом дворе всегда стояла бочка с водой, а в ней были розги“.

думал посадить его на неделю в карцер, где бы он занимался исключительно немецким языком, а между тем, для поддержания в нем энергии, ежедневно давать ему по семидесяти розог. Однажды задавшись каким-нибудь вопросом, настойчивый инспектор не любил отступать от него без ответа, и бедный мальчик действительно вытерпел положенное истязание в течение недели.

Все наказания однако приносили слишком мало пользы, развивая в получавших их терпение и упорство, что впрочем не мешало-таки безумному инспектору следовать однажды навсегда предначертанному плану.

Здесь не лишне будет сказать несколько слов об учителях, из которых многие, с переходом моим в четвертый класс, были люди почти неизвестные мне до тех пор, потому что цикл изучаемых предметов значительно расширился; из прежде же поучавших, одни преподавали новые науки, другие из лентяев сделались вдруг необыкновенно прилежными и совершенно изменились, т. е. по внешности.

В четвертом классе мне приходилось узнать и алгебру с геометрией, и историю с словесностью, и греческий язык, так что поневоле призадуматься перед такою программой! К этому нужно прибавить, что при тогдашнем методе преподавания, все гимназические предметы до того были отделены друг от друга, что при изучении какого-нибудь нового, имеющего прямую аналогию с только что пройденными, ученик становился совершенно в тупик и бессознательно заучивал мертвые буквы учебника. Учителя мало заботились об истолковании задаваемого урока и ограничивались только коротким рыканием: „от сих до сих...“ Помню, например, как учитель алгебры,¹ желая похвастаться ученостью, иногда зада-

¹ Прототипом автору послужил математик С. А. Колесников (1847—1858), знавший „свой предмет... не важно“. „Хотя на уроках у Колесникова,—говорит историк гимназии,—и была тишина, но математике гимназисты у него не научились“. Методы его преподавания покоились на физических наказаниях и зубрежке.

нал нам такие задачи, к которым никто не мог даже и приступить. За одну из таких задач, неразрешенных нами, учитель поставил весь класс на колени. Вошел инспектор и спросил, за что мы наказаны.

— Да вот неопределенное уравнение не умели решить... Лентяи! Ничего не делают, — отвечал учитель.

— А вы им разрешите и объясните, — заметил инспектор, и сел на стул, желая видеть, как разрешит и объяснит учитель (инспектор был математик).

Лысый, постоянно полупьяный учитель невольно должен был повиноваться. Он подошел к доске, крикнул, почесал лысину и принялся разрешать задачу; обломки мела так и летели в стороны. Написавши довольно много, учитель посмотрел, посмотрел — и стер; опять написал — опять стер. Снова принялся писать, та же история. Инспектор улыбнулся, встал со стула и, пробормотав „мудреная задача!“ вышел из класса, посадивши нас по местам; а находчивый учитель, начисто вытирая доску, громко произнес:

— Итак, эту задачу, которую я разрешил теперь вам, вы должны приготовить к следующему классу.

— Да приготовить, батюшки!.. а то всех перепорю! — скрежеща зубами заревел лысый учитель.

Этому-то существу я обязан моими познаниями в алгебре, физике и тригонометрии, о которых всегда имел и имею самое смутное понятие. Предметов, излагаемых им, он не знал и довольствовался тем, что ученики зубрили урок свой по учебнику слово в слово. Так, например, один из моих товарищей на вопрос лысого учителя „почему это так?“ — всегда отвечал: „о сем сказано в таком то параграфе“, и учитель удовлетворялся.

Замечательный оригинал был учитель греческого языка.¹ Свой предмет он знал отлично, но прослуживши

¹ Прототипом автору послужил учитель И. Ф. Синайский (1836—1851), у которого „была слабость—всем ученикам предлагать книги его сочинения“. В долгу учитель не оставался, всячески помогая ученику при ответах.

около тридцати лет учителем, потерял всякую охоту к передаче своих знаний, и постоянно занимался в классе пустою болтовнею, рассказывая события из своей домашней жизни.

— У меня сегодня Васса больна (Васса — его кухарка Василиса), — рассуждал он, обращаясь к целому классу и разводя руками. — Вот по той причине и хожу в нечищенных сапогах. — Учитель поднимал ногу; все улыбались. — Батрак (работник, он же кучер) не мог вычистить, сколь я его не принуждал: „не умею“, говорит.

Иногда греческий учитель любил поговорить и о литературе; тогда разговор тотчас же склонялся на Лермонтова и Пушкина, к которым старик за что-то питал глубокую ненависть.

— Что мне ваши Лермонтовы, Пушкины! — обыкновенно говорил он мягким, как будто суконным языком: — Болваны! Дрянь!.. Вон Софокл¹, Аристофан², Херасков³, Капнист⁴, вот это писатели, этих советую читать, а Лермонтов и Пушкин — болваны!

Как только мы перешли в четвертый класс и явились на урок к этому учителю, он сейчас же роздал нам толстый лексикон, некогда сочиненный им.

— За него вы заплатите мне каждый сообразно своему состоянию. А книга хорошая, полезная, без нее не обойдетесь, — рассуждал автор.

Действительно, книга эта впоследствии весьма и весьма пригодилась матушке для различных хозяйственных поделок: при печении пирогов, завертывании различных целебных трав и кореньев, завязывании банок с вареньем и прочего.

¹ Софокл (ок. 495—406 до хр. э.) — древнегреческий драматург, сторонник умеренной демократии.

² Аристофан (ок. 450—385 до хр. э.) — древнегреческий драматург, автор комедий, пропитанных духом консерватизма.

³ Херасков, М. М. (1733—1807) — писатель, представитель русского классицизма втор. половины XVIII в.

⁴ Капнист, В. В., гр. (1757—1824) — русский драматург, примыкавший к устарелому литературному направлению.

Особенно забавлял нас учитель, когда, выйдя на крыльцо, кричал: „батрак: подавай скотину!“ т. е. „кучер, подавай лошадь!“ — этот оборот речи всегда приводил нас в восторг.

С учителем греческого языка оригинальностью мог поспорить разве только учитель истории, у которого учебник Кайданова считался единственным научным пособием и который простодушно уверял, что римляне ездили на оленях. В классе он постоянно спал, а ученики поочередно вставали и как будто отвечали урок, бормоча невозможные нелепости: это, впрочем, делалось для инспектора, который посмотревши в окно, видел бы, что урок идет как следует. В ясные, солнечные дни сладкий сон учителя обыкновенно нарушался его слушателями, имевшими привычку посредством осколков зеркал отражать лучи света в глаза своего наставника; такая забава длилась иногда во все продолжение урока, и учитель уходил из класса взбешенным.

Петька, с которым я имел уже счастье познакомиться при самом поступлении в гимназию, читал в четвертом классе и далее геометрию, которую излагал всегда с удивительным красноречием и совершенно непонятно. С учениками своими он попрежнему обходился с заносчивостью и презрением, одних считая „мужичками“, других — „замарашками“.

Словесность, прежде преподаваемую каким-то старичком ¹ по книжке Кошанского, читал теперь новый учитель ², только-что окончивший курс в одном из столичных университетов. Это была свежая, молодая натура, полная сил и энергии, человек обладавший огромными специальными и энциклопедическими познаниями, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую

¹ Речь идет об учителе Ф. И. Волкове, любителе выпить и стороннике отжившей псевдоклассической школы. По книгам Кошанского еще в молодости учились сами учителя (род. Кошанский в 1731 г.).

² Автор говорит о Н. Г. Чернышевском.

арену для своей деятельности. Но и в то недолгое время, которое учитель пробыл в нашей гимназии, глубоко была потрясена им старая система воспитания, и память о нем навсегда сохранилась между его учениками. Учителя тоже помнили и помнят молодого учителя словесности, постоянно упрекавшего их в жестокосердии и неумении передавать взятого на себя предмета. Все изменилось на время под благотворным влиянием этого умного, гуманного человека. В учениках своих он умел развить охоту к чтению, постоянно прочитывая сам различные книги и, кроме того, снабжая ими желающих. Уроки всегда рассказывались им с такою ясностью и так понятно, что каждый мог повторить их, не прочитывая по книге. Кроме своего предмета, он сообщил нам необходимые понятия почти о всех науках, показав в то же время метод к изучению их и степень важности каждой во всеобщем знании. С какою радостью мы встречали всегда этого человека и с каким нетерпением ожидали его речи, всегда тихой, нежной и ласковой, если она обращалась к нам лично, и живой и понятной, если он передавал нам какие-нибудь научные сведения. В классе господствовала мертвая тишина; даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слух, боясь проронить хотя одно слово... Особенно полное и глубокое впечатление он произвел на нас чтением Жуковского, к поэзии которого питал тогда особенную склонность наш детский, мечтательный ум. Мы, помню, плакали над сказкой „Рустем и Зораб“, прочитанной, правда, с необыкновенным умением и чувством¹. До какой степени было сильно влияние учителя словесности на всех его окружающих, можно судить, например, уже по тому, что учитель греческого языка перестал бранить Лермонтова и Пушкина, а учитель истории отказался от римских оленей и, кроме того, начал спрашивать хроно-

¹ Жуковский В. А. (1783—1852) — крупнейший русский поэт, представитель сентиментального романтизма.

логию различных исторических событий, думая, что теперь уже исчерпывается вся наука. Математики, прежде занятые разговорами о различных пирушках и попойках, в которых принимали живейшее участие, тоже бросились в науку, стараясь отыскать „квадратуру круга“, и может быть нашли бы, если бы отъезд учителя не привел их опять на житейскую дорогу. Инспектор смотрел искоса на новатора и попрежнему продолжал сечь ленивцев, уводя впрочем их в нижний этаж, откуда неслышны, были уже вопли...

Особенно много приходилось учителю спорить с директором касательно так называемых литературных бесед. Беседы эти назначались для учеников шестого и седьмого классов; на них прочитывалось сочинение, написанное кем-нибудь из учеников, и защищалось им же против возражений, делаемых его товарищами. Директор поставлял каждому в неперенную обязанность „возражать“; кто не делал этого, тот или ставился им на колени, или был осыпаям всевозможными ругательствами. Кроме того, темы для сочинений назначались самого возвышенного характера: „о благородстве души“, „о воле“, „о различии между рассудком и разумом, степени аналогии их между собою и слиянии в одном общем источнике — уме“ и проч. и проч. Такая чепуха, разумеется, не понравилась молодому учителю, и он восстал как против дурного обращения со взрослыми учениками, так равно и прогив тем с философским или психологическим оттенком. Директор противился. Тогда учитель наотрез отказался посещать беседы. Делать было нечего: упорный любитель возвышенных тем и низкой брани принужден был уступить, и беседы приняли живой, осмысленный характер, лишенный парений и коленопреклонения.

Молодой учитель пробыл в нашей гимназии довольно недолго, оставив однако добрую, прочную память по себе между учениками и преследуемый проклятиями своих товарищей, кредит которых между воспитанниками

был подорван навсегда, и грубая материальная сила уже не могла служить опорой в отношениях между оставшимися учителями и учениками. Кафедра словесности скоро была занята другим кротким и умным человеком, не имевшим однако той энергии, какую владел прежний учитель.¹

Тут учителя начали сменяться как-то слишком часто; но ни один из них не отличался особенно похвальными качествами, хотя многие приезжали прямо с университетской скамейки, где, как известно, каждый „кипит, желает...“

Но верно такова уже среда, что попавши в нее человек невольно отрешается от всего, что вчера только было дорого его сердцу, что составляло предмет бесплодных мечтаний. Действительно, каждый из только-что выпущенных молодых людей как нарочно делался именно тем, к чему он был менее всего приготовлен, но никогда не был тем, чем он должен и способен был быть, к чему он готовился несколько лет. Вместо учителей, гимназия всегда имела отличных карточных игроков, великолепных пьяниц, изящных кавалеров и прочее, — но никогда почти не имела опытных и добросовестных наставников, в чем она постоянно нуждалась. Правда, иногда пожалуй попадались учителя до того добросовестные в выполнении своих обязанностей, что ученики бежали от их классов, потому что добросовестный наставник гнул бог весть какую ерунду, думая, что этим он развивает своих слушателей. Между ними особенно замечателен был новый учитель истории.²

Это была мизерная фигурка, лет двадцати, только что выпущенная из педагогического института с серебряной

¹ Автор говорит об учителе словесности В. Г. Варенцове 1854—1857.

² Прототипом автору послужил учитель истории М. А. Лакомте (1855—1869), будущий директор гимназии. Он был добрый, но слабовольный, хвастливый и болтливый человек, вообразивший себя ученым и читавший гимназистам лекции, которых они не понимали. Ученики всячески использовали слабости Лакомте, что вело к полному незнанию ими истории.

медалью (отчего же не с золотой?). Педагог, на первый же раз, застенчиво объявил нам, что он приехал только на время, что его таланты замечены правительством, и скоро он будет отправлен за границу, а потом займет кафедру в иркутском университете (тогда носились слухи об открытии университета в Сибири). Профессорская кафедра была пунктом помешательства нового учителя. Спросивши нас о приобретенных нами знаниях в истории, учитель сказал, что его метод преподавания будет совершенно иной: что он будет читать лекции, а не задавать уроки, почему все мы должны были внимательно слушать его и записывать. У меня где-то еще сохранились отрывки из его лекций, обличающие в quasi¹ - профессоре крайнее тупоумие и неумение даже говорить по-человечески. Наконец, наскучило учителю готовить лекции, и вот он принялся прочитывать нам различные эпохи по книгам. Так, например, тридцатилетнюю войну он читал целый год по Шиллеру, ломка которого производилась при помощи лексикона, отчего постоянно получался удивительнейший набор слов при совершенном отсутствии даже грамматической связи. Римскую историю заблагорассудил он изложить по Нибуру², искажением которого также занимался почти год и тоже при помощи лексикона. Предоставив учителю коверкать великих писателей, мы занимались в это время карточной игрой или каким-нибудь подобным делом, все-таки более интересным чем лекции.

Особенно выразилась недалекоость quasi - профессора по следующему обстоятельству:

Один из учеников гимназии по окончании курса намеревался ехать в университет. Учитель почему-то заблагорассудил протектировать ему и дал письмо к профессору истории в том университете, куда ехал молодой

¹ Quasi — мнимый, якобы.

² Нибур, Б. Г. (1776—1830) — немецкий историк, проводник методов критического исследования источников, автор „Римской истории“.

человек. Не доверяя учителю и плохо полагаясь на его благоразумие, ученик вскрыл письмо и к удивлению своему прочел в нем следующее:

„Милостивый государь! (писал quasi-профессор). Извините, что я, человек совершенно незнакомый вам, осмеливаюсь рекомендовать молодого юношу, подателя настоящего письма, как способнейшего и даровитейшего из моих учеников. Главная же цель письма, милостивый государь, состоит в том, что я прошу у вас извинения за то, что не могу приехать к вам в университет держать экзамен на магистра, потому что считаю более выгодным ехать в университет нашего округа.

Имею честь быть и проч.,
такой-то“.

Письмо быстро разошлось между гимназистами и по поводу его было сочинено ими множество забавных анекдотов.

Наскучив бесплодными самоубиваниями, да кроме того, получая постоянно выговоры от директора за дурные наши ответы на экзаменах, учитель решился наконец покориться необходимости и, взяв какое-то руководство, принялся подобно прочим сослуживцам задавать уроки, ограничиваясь скромным замечанием: „от сих и до сих...“; сам между тем пустился в свет, где привел всех в восторг своею любезностью и ловкостью, а там, попавшись в сети какой-то девицы, женился, — ну, и конец всему! Прощай и Иркутск, и Европа, и кафедра! Правда, мысль о профессорстве никогда не покидала бедняка, и долго-долго среди различных соло слышались возгласы молодого человека, что ему предстоит отправиться за границу и потом занять кафедру; но это были уже пустые звуки, а ведь прежде человек трудился для подобной цели!

Вот та двойная эгида, под гнетом которой я быстро вырастал в юношу, готового ежеминутно расправить

крылья и вспорхнуть свободно и самостоятельно.. Поставленный в дурное положение дома, в гимназии я попадал в положение еще худшее. Ум мой нигде не находил пищи для своего правильного развития и, или бесплодно засыпал, или устремлялся со всею жадностью голодного бедняка на первую попавшуюся пищу, отчего, прежде всего и сильнее, развивались во мне дурные наклонности, заглушая находившиеся в бездействии и сне добрые начала. Кроме „Выжигиных“, „Мазепы“¹ и еще кой-какой подобной дряни я ничего не успел прочесть до 15-16 лет, потому что книг достать было негде; денег, на которые я мог бы купить их, не было, а библиотека отца состояла из псалтиря, молитвенника и пресловутого календаря, выдержки из которого я привел в начале записок. Что же оставалось делать в подобном положении? Нужно же куда-нибудь направить молодые, кипучие силы... Разумеется, приходилось делать вещи нехорошие, развивать себя тою стороною, от которой долго-долго впоследствии не может отучиться слабая натура, правда, уже узнавшая настоящую дорогу. А между тем я думал ехать в университет, для которого был столько же приготовлен, как портной для сапожного мастерства. Я не знал, не только на что я пригоден, но даже сомневался — пригоден ли я на что-нибудь? Такая мысль по крайней мере пришла мне накануне моего отъезда с родины, и я действительно увидел, что гимназия не только не дала мне ничего, но даже отняла последнюю надежду в собственные силы, в сознание своего человеческого я... Но об этом после; теперь скажем несколько слов о нашей общественной и домашней жизни.

¹ Булгарин Ф. В. (1789—1859), хозяин и редактор крепостнической „Северной пчелы“, негласного органа III Отделения. Имя Булгарина — символ политической продажности. Его авантюрные романы „Иван Выжигин“, „Петр Иванович Выжигин“ и др., неправдоподобно изображали русскую жизнь. Исторические романы Булгарина („Мазепа“ и др.) насыщены дешевым мелодраматизмом и кровавыми эффектами.

Город наш, как и следует всякому городу, имел различные учреждения, из которых об одном — театре — я уже говорил; кроме театра в нем было также собрание, куда мы иногда отправлялись на так называемые детские балы, в зал, или просто в качестве зрителей — на хоры, откуда с любопытством смотрели на танцующих. Хоры были устроены таким образом, что видно было только из первых мест, остальные зрители созерцали потолок и люстру, что впрочем не мешало приходить им в совершенный восторг. Для того, чтобы занять передние места, нужно было ехать слишком рано, когда еще не зажигают свечей, почему любители брали с собой огарки, которые таким образом освещали их среди тьмы. Детские балы, на которых я участвовал, и которые мне, не привыкшему к обществу, сильно не нравились, имели, по тогдашнему моему мнению, большое сходство с кулачными боями, до которых я был большой охотник. И действительно, как там, так и здесь, сначала выпускаются маленькие, а большие смотрят; потом, как там, так и здесь, большие мало-помалу разгораются и выступают на сцену, оттесняя детей на задний план. Между большими особенно мне нравился необыкновенно развязный молодой человек, которого к концу вечера постоянно выводили из залы, потому что он или канканировал, или отплясывал трепака, среди монотонных и крайне нравственных провинциальных барышень.

Учреждения подобного рода, ясно указывающие на некоторую развитость тогдашнего общества, как-то не гармонировали с его понятиями, в доказательство нелепости которых я приведу некоторые факты.

Летом, в конце июня, явился неизвестно откуда пророк, ясно доказывавший, что на Петров день город провалится сквозь землю. Предвещатель был посажен в часть, и полиция, при всем своем старании, никак не могла убедить жителей в ложности подобного предсказания. Простолюдины вывезли из города свое имущество, а так называемое общество, хотя и не разделяло мнений

черни, однако все-таки заблагорассудило выехать в этот день из города, думая, что „пожалуй и провалится“... Прошел день Петра и Павла; прорицатель получил порочную порцию розг; беглецы возвратились в город, — и общество опять зажило прежним порядком, выжидая нового пророка.

Но вместо пророка явилось нечто лучшее...

Раз, поутру, возвратившись с базара, отец сообщил нам, что „в третью часть взят „оборотень“ — и советовал сходить посмотреть его. Действительно, около части собралось множество народа, между которым виднелись и члены лучшего нашего общества. Мы взобрались на забор и видели только как будочник бил палкою какого-то мужика, требовавшего, чтобы ему показали оборотня. Потом несколько полицейских солдат принялись разгонять толпу, вокруг которой уже устроилось катанье, и цвет нашего общества, заинтересованный оборотнем, разъезжал кругом части.

Вообще понятия тогдашнего общества были слишком ограничены; предрассудков в нем держалось целая тьма, и взгляд на вещи обуславливался известными чертами, однажды навсегда привитыми няньками, бабками, или переходящими по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Так, например, явилась комета — война будет; а кто поученее да поумнее, сейчас объяснит, что белый и черный арап идут на Россию. Томится в агонии какая-нибудь старуха-купчиха, — целый город кричит: „ведьма! надо конек у крыши поднять!“ Под коленкой чешется — голод будет; переносица — набор... Одним словом, все понятия были точно такого же сорта, какими были они несколько лет тому назад во всех наших провинциях. О газетах и так называемой политике никто не смел и подумать. Политические новости приносились или солдатами, шедшими на побывку, или старушками, приходившими из отдаленных деревень и уверявшими, что все это объяснил какой-нибудь сидень-бобыль, сорок лет не встававший с места. Если же кто-нибудь осмеливался

противоречить подобным выдумкам—его называли вольнодумцем, — что и случилось с нашим любимым учителем словесности, старавшимся по возможности распространять в обществе здоровые понятия. И действительно, тогдашняя литература, правда, достаточно уже богатая, но слишком мало относившаяся к жизни, слишком замкнутая в самой себе, не могла заинтересовать общество, для которого литература постоянно служила не пищей, а забавой, развлечением; — вот почему в большинстве, тогдашней провинциальной молодежи, дурно воспитанной и мало развитой, литература не могла иметь успеха, потому что была слишком скучным развлечением, слишком головоломной забавой. Бывали, правда, исключения и здесь, но по своей малочисленности они совершенно терялись в тупой, невежественной массе, воспитавшейся на банальных французских романах и отечественных подделках вроде романов Булгарина, Зотова ¹ и других.

Перед окончанием мною курса отец потерял место брандмейстера, потому что начальство нашло его устаревшим для отправления этой должности. Старший брат, долго страдавший в гимназии, наконец вышел, не окончивши курса, и при помощи некоторых знакомых и приятелей отца, которые успели убедить его отпустить брата в одну из столиц, уехал для изучения медицины в высшем медицинском заведении.

Тут скоро случилось в нашем городе происшествие, именно: похищение и убийство двух или трех мальчиков. Завязалось огромное дело; приехала целая комиссия для его исследования, и отец снова получил место смотрителя при вновь устроенной исключительно для этого случая тюрьмы. Здесь собрано было несколько десятков их и вместе с ними туда же посажен один из частных приставов, сослуживец отца. Арестантов содержали очень

¹ Зотов, Р. М. (1795—1871) — автор лубочных исторических романов, сотрудник „Северной пчелы“. Его писания жестоко высмеивали Белинский, Добролюбов, Писарев.

итрого, каждого в отдельной комнате. Отец перебрался в новую тюрьму один, потому что для семейства не было в ней помещения, что впрочем весьма обрадовало нас. Дело длилось около года, и когда окончилось, то отец снова переселился из тюрьмы.

Между тем подходило время выпускных экзаменов, которых я впрочем не боялся, потому что в течение года постоянно был первым учеником. Товарищи мои начали поговаривать об университете, перебирали различные факультеты, советовались между собою и прочее. Я не мог принять участия в их рассуждениях, потому что не знал мнения отца об этом предмете. Помнил только, что несколько времени тому назад отец говорил мне, что в военную службу я не гоюсь — трус, потому что он намерен пустить меня „по штатской“. Брат между тем в своих письмах постоянно советовал отцу отправить меня в университет, представляя различные резоны, на которые отец отвечал только помахиванием головы и известною фразою, что он учился на медные деньги — и детей также хочет образовать.

— Впрочем, поезжай, с богом!

Я бросился целовать его руки, обрадовавшись чему-то, и почему — этого не мог понять.

В самом деле, зачем я тогда ехал в университет? Имел ли я хотя некоторое понятие о том, что ожидает меня впереди? Чем казались мне науки, которые я должен буду проходить? На все эти вопросы я могу откровенно отвечать только одно: „ничего этого я не понимал...“ Я ехал потому что ехали другие, выбрал известный факультет опять-таки потому что и другие его выбрали; а эти другие столько же знали все это, как и я. Одним словом, собралась толпа глупых юношей и, ровно ничего не понимая, разрешила все без малейшего затруднения. Были, правда, некоторые споры о том, кому какой факультет избрать, но они прекратились весьма скоро, потому что каждому ничего не стоило взять тот или другой, смотря потому, как это нравилось большинству.

— Кто на юридический поступает? — спрашивал чей-нибудь голос.

— Я, — был ответ.

— Что тебе за охота быть крючком? — спрашивали юриста.

— Ну, так я на камеральный¹ поступлю.

— Камералы дураки, — замечали ему, — А ты поступайка на медицинский: все поступают на медицинский.

— Ну, хорошо...

Рассуждения при выборе факультетов были действительно в подобном роде, и каждый после думал, что он обсудил вопрос со всех сторон, что факультет он выбрал вполне соответствующий его способностям и силам и т. д. и т. д.

Вот наконец наступило время покинуть родной город. В роковой день все собрались в зал; отец вынес икону, благословил, поцеловался со мной трижды и предоставил дальнейшие проводы матушке, братьям и сестрам, которые намеревались проводить меня за городскую заставу. Выезжая со двора, я взглянул на наш милый дом, где столько лет тянулось мое детство, — и слезы неволью покатались из моих глаз. Вот проехали мы мимо гимназии, проехали еще несколько знакомых домов, и на нас вдруг глянул целою сотнею окон острог. Еще грустнее, еще тяжелее сделалось мне.

— Вот, Миша, и острог, — заметила матушка сквозь слезы: — тут мы жили когда-то...

— Да... — мог только ответить я, потому что слезы совершенно душили меня.

¹ Из воспоминаний Дурасова, учившегося в эти же годы в сарат. гимназии, видно, что на камеральный факультет поступали преимущественно карьеристы. Камеральный ф-т (точнее, разряд ф-та) впервые открыт в Петербургском университете. Его программу составляли некоторые юридические и философские дисциплины, прохождение которых должно было подготовить „людей, способных к службе хозяйственной и административной“. Под камеральными науками разумелась совокупность знаний, нужных для управления камерой или камеральными, государственными имуществами.

За городской заставой мы простояли несколько минут, потому что должны были дожидаться ехавших вместе со мной товарищей. Наконец — все готово; я прощаюсь с родными в последний раз, раздается звук колокольчика, и тройка трогается... Прощай, родина!

Да, как ни тяжела моя детская жизнь, как ни мало осталось светлых воспоминаний и как ни безобразны все воспоминания, встающие теперь в моей памяти, — но сердце все-таки тревожно бьется при мысли, что в этом уголке протекли целые 11—12 лет, что на этом кладбище, где многие погребли целые жизни, я вижу снежную могилу моего детства! И вот сами собой шепчутся слова поэта:

Родина мать!

.

Сколько б на нивах бесплодных твоих

Даром ни стгнуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали

Вечные бури твои не нагнали

На боязливую душу мою —

Я побежден пред тобою стою! ¹

¹ Из стихотворения Некрасова „Саша“.

БРАТЯ-РАЗБОЙНИКИ

(Картинки далекого прошлого)

Годы моего детства, шумного и обильного разными треволениями, я провел в С., большом, богатом и торговом приволжском городе. Многие, что относится к этим годам, разумеется, теперь уже стерто временем и безвозвратно улетело из памяти; но многое еще живет крепко и, как бы что-то, происшедшее вчера лишь или третьего дня, так и носится перед глазами. Так, например, прежде всего, хорошо помнится мне наш старый дом, какой-то своеобразной, странной архитектуры, высокий-высокий и узкий такой, с высокою же, крутою и почти остроконечною кровлей и крохотными, точно подслеповатыми, окошками, более похожий на какую-нибудь сторожевую башню или на солдатскую будку больших размеров, чем на обыкновенный жилой каменный дом, какие мы привыкли видеть теперь. Кроме этого дома в глубине двора, как теперь вижу, стоит не менее странный флигель, словно нарочно, в противоположность дому, низенький, расплывшийся во все стороны и в довершение всего — кособокий. Помню, например, наш маленький сад, то-есть огороженное частоколом место в несколько квадратных сажен, почему-то названное этим громким именем, место, на котором высился, кивая сухими ветвями, старый, дуплистый вяз, торчали две, три акации, запыленные и объединенные коровой, и росла, счетом, одна яблоня, а на этой яблоне, счетом же, выросло десять кислых и терпких яблок в год. О, эти коварные яблоки раздора! С каким нетерпением, помню, ждали мы хорошего, крепкого ветра, который сбил бы их пре-

жде времени и дал бы нам случай ими полакомиться. Не ветра нет, как нет... И вот, вспоминаются мне трудные походы за этими соблазнительными, хотя и кислыми яблоками, точно за золотым руном, в теплые июльские ночи, под сотнями самых разнообразных страхов и с риском быть пойманными и жестоко высеченными двуххвосткой. Ай-ай, и памятна же мне эта чертовская двуххвостка! Какими злодейскими вензелями, бывало, исписывала она наши детские спины за самую пустяшную провинность! А вот и знакомая крутая, почти вертикальная лестница, ведущая из сада на крышу нашего старого дома. Не взобраться ли нам по ней, благо утро так обольстительно-прекрасно, да и бояться теперь некого, потому что отца нет дома? И вот мы, разом, наверху. Какая картина! Видите, вон то необозримо громадное зеркало вод, широко раскинувшихся направо и налево? — Это — Волга... Во-он, далеко, далеко, бьется и борется с быстротой течения пароход, таща за собою целый караван, целый десяток подчалков. А эти белые гуси или лебеди, распутившие крылья на воде, это — суда,двигающиеся под парусами; а те черные точки, что как мухи ползают вдоль и поперек зеркала по разным направлениям, это — рыбацьи лодки. А вон, по окраинам зеркала, по тому и другому берегу, весь этот необозримый лес — все это мачты высятся, все это суда стоят. Но, чу! Что это за топот слышится на улице? Как бы нам не ввалиться в беду? Сойдемте поскорее, это, должно быть, отец. И, действительно, вот он въезжает в ворота, верхом на высокой, костлявой, буланой, башкирской лошади, гривастой, большеголовой и горбоносой. Отец, по обычаю, мрачен и бросает суровые взгляды направо и налево, как бы отыскивая, к чему бы придраться. Впереди всадника перекинут через седло большой мешок, а сзади второчены разные небольшие кульки и торбы, — все это означает, что отец вернулся с базара, где он закупал провизию. На крыльце флигеля, вижу я: отца встречает маленькая, худенькая женщина, с какою-то печатью

покорности и тихой грусти на добром лице — это наша мать... Живо вспоминаются мне и глухие осенние вечера, когда отец с матерью уезжают куда-нибудь в гости и когда мы, дети, остаемся дома одни; когда на дворе бушует ветер и злится, и назойливо рвется в ставни, словно и сердится, и плачет, и молит: „пусти-и!пусти-и!“ Когда в детскую душу невольно забирается какой-то безотчетный страх, и все мы сбиваемся в плотную кучу вокруг старой няньки: — жужжит веретено, бесконечная тянется нитка, и, как эта нитка, такая же, кажется, бесконечная тянется заманчивая сказка няни о какой-нибудь вечно новой жар-птице, о какой-нибудь царевне Милонеге, или о чем-нибудь подобном.

Таким-то детским воспоминаниям я хочу посвятить мой настоящий рассказ, стараясь, по возможности, точно и правдиво воспроизвести все то, что через много лет удержалось еще в моей слабой памяти. Если читатель найдет в моем рассказе много странного, даже маловероятного — пусть не смущается и не подозревает автора в преувеличениях, но пусть порадуетя вместе со мною, потому что это будет означать только, что детская жизнь за последние годы значительно улучшилась и вышла из того русла, в котором билась она в наши дни. Напротив, было бы слишком грустно узнать, что и теперь еще все идет по-старому и что мои воспоминания для многих будут не более как картиною их настоящей жизни. Да, это было бы вполне грустно.. обидно!

I

Отец мой был отставной офицер, после долгой военной службы снова поступивший на службу же, на этот раз гражданскую. Уже одно такое вторичное поступление на службу ясно показывает, что мы были люди далеко небогатые; но если еще к этому прибавить, что нас детей, было в семье восемь человек, то всякий поймет, что родителям моим жилось не совсем легко и что

подумать им было-таки о чем. Разумеется, при такой массе детей и при весьма небольших отцовских средствах не могло быть и помину о разных детских приставниках и надсмотрщиках, гувернерах и гувернантках, — каждый карапуз, как только сползал с рук няньки, вставал на ноги и осмеливался высовывать свой нос за порог жилья, на двор, где так ласково играло солнышко, где кудахтали куры и звонко голосил горластый петух, — каждый, говорю, тогда уже должен был заботиться о себе сам. Потому почти никогда не случалось, чтобы карапуз, порезавший себе палец, или карапуз, набивший на лбу шишку, величиною с порядочную картофелину, распускал нюни и бежал с подобными болями к несуществующим защитникам и покровителям, — нет, каждый такой пострадавший прежде всего отыскивал тряпку, чтобы перевязать порезанный палец, или промышлял серебряную ложку и крепко, со слезами на глазах, тер ею ушибленный лоб, стараясь скрыть ушиб и разогнать скопившуюся кровь.

Нас было четыре брата и четыре сестры. Помещались мы в доме отца таким образом: отец, мать и сестры жили во флигеле, а мы, мальчики — в половине нижнего этажа дома (верхний этаж и другая половина нижнего отдавались жильцам), в двух комнатках, из которых, впрочем, одну занимали кучера, так как должность отца была такого рода, что он непременно обязан был держать лошадей. Старший брат был значительно старше нас, остальных троих братьев, и ему был родителями поручен надзор за нами, состоявший, приблизительно в том, что он ежедневно угощал нас горячими затрещинами или силой выпихивал из комнаты на двор, когда ему почему-либо казалось, что мы докучаем или мешаем ему. Этого старшего брата, признаться, мы и побаивались и в то же время порядочно-таки недолюбливали и, случалось, иногда, соединившись и сговорившись, нападали на обидчика, отчего происходил такой домашний Севастополь, после которого приходилось мало того что

тереть лбы серебряными ложками, но еще и добывать иголки с нитками, потому что подобные битвы всегда оканчивались полнейшим разрушением нашего детского туалета. Впрочем, такие Севастополи случались очень редко, так как брат был не без хитрости и не нападал сразу на троих, а тузил нас поочередно, умея как-то ловко поселять между нами рознь и раздор.

— А! Что? Наелся? Наелся? — красные, как вареные раки, и едва переведа дух от усталости, дразнили мы брата по окончании битвы.

— Ну-да ладно, ладно! Еще посмотрим, кто наелся?

— Сюртучишко-то, смотри-ка, весь изорвали, — продолжали мы дразнить.

— Сюртучишко-то — ничего. А вот у Ваньки шишка-то какая на лбу, — вот это как?

— Э, брат, шишка то пройдет; а вот, как ты с рваным сюртучишком-то покажешься папеньке?

— Что же? Я так и скажу, что вы изорвали.

— А мы про тебя скажем, что ты на нас рубашки разорвал. Что-о? Э!-э! — высовывали мы языки.

— Еще вы-то когда скажете, а я вот сейчас пойду, — выведенный из терпения, провозглашает брат и, вскочив с места, бежит жаловаться отцу.

Мы, разумеется, тотчас же принимаем свои меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох, то есть, проще говоря, выскакиваем из комнаты и стремглав шарахаемся кто на двор, кто на чердак, кто-куда, лишь-бы только спрятаться от отца, который неминуемо сделает визит, да еще вместе со столь ненавистой нам двухвосткой.

Но если мы не любили старшего брата и не дружили с ним, то зато мы трое жили между собою, что называется, душа в душу. У нас было все общее: радости и огорчения, затей и планы, игрушки всякого рода, лакомства и, наконец, деньги... т. е. те скудные гроши, которые дарили нам родители в большие праздники и в дни именин. Особенно сближали нас между собою игрушки, которые мы должны были мастерить и приоб-

рестать сами, так как готовых игрушек родители нам никогда не покупали. И вот, например, в ростепель мы сооружали целую флотилию, состоящую из нескольких судов и нескольких лодок. Разумеется, для того, чтобы создать такую флотилию, сил одного человека было недостаточно, потому — работали сообща: один долбил дерево, другой ладил мачты, паруса, весла и рули, третий смолил, красил, оснащивал и т. д. Кроме того, для того, чтобы наш маленький флот походил на флот настоящий и действовал, нужно было отводить и спускать воду, рыть канавы, запруживать, ставить плотины, — словом, нужны были силы нескольких работников; а такая совокупность сил была возможна лишь при той дружбе, которая связывала нас и делала общими наши интересы. Беда, бывало, если какой-нибудь не в меру усердный кучер, думая поскорее очистить двор, несколькими ударами пешни или лома разрушал все эти хитрые наши водные сооружения! О! Тогда мы вставали, как один человек, и нападали на разорителя, если не с яростью рассвирепевших львов, то, во всяком случае, с ожесточением обозлившихся петухов — били его руками и ногами, бодали головами, щипали, рвали зубами и проч. То же самое бывало, когда кто-нибудь из нас отправлялся на чужой двор играть в бабки с соседскими мальчиками, причем тащил с собою наше общее достояние, — мешок с бабками, п л и т у (сердцевидный кусок железа — одна из принадлежностей игры), н а л и т к и (бабки, налитые свинцом), я д р о и ч у г у н к у (тоже принадлежности игры), — и при этом кто-нибудь осмеливался посягнуть на такое наше общее достояние, — стрелой тогда, по первому зову, летели мы на выручку обиженного брата, разрушая все попадавшееся на пути и не раньше возвращались домой, как отбивши свой мешок, да прихватив еще, кстати, в виде трофея, и всякую постороннюю движимость, подвернувшуюся под руку, от бабок до детских шапок включительно. Но особенными тревоблениями сопровождалось всегда приготовление и запускание бумажного змея —

забава, которую можно было позволять себе нечасто и притом при обстоятельствах, особенно благоприятствовавших такому запусканию. Прежде всего, для такой забавы требовался довольно многосложный материал, как-то: бумага, драица, клей и нитки; потом, чтобы из этого материала приготовить змей, требовалось место, так как в комнате, в которой мы жили, клеить змей нам не позволил бы старший брат, в других же местах нам нужно было избегать зоркого глаза отца; затем, для того, чтобы змей поднялся на требуемую высоту, нужен был достаточно сильный ветер; кроме того, чтобы иметь возможность запустить змей, нужно было еще выбрать такое время, когда отца не бывает дома; наконец и запустивши-то змей, опять нужно было зорко следить за ним, нужно было всеми силами стараться уберечь его от соседних мальчиков, имевших обыкновение всякий такой змей перекидывать, то есть набрасывать тяжесть на нитку, на которой ходит змей, и затем притягивать его к себе. Вообще, вся эта хитрая и сложная процедура изготовления, приблизительно шла таким образом, если только представить ее во всей ее полноте.

— Максимушка, а Максимушка! Слышишь, миленький, какой ветер-то начинается? — задумавши пустить змей, с ласковым вопросом приступали мы к кучеру Максиму, несколько приглуповатому, но необыкновенно добродушному мужику, охотно помогавшему нам во всех наших затеях.

Максим не сразу поддавался на наши ласковые речи, но предварительно ломался, чувствуя, что в нем заискивают.

— Ну, и пушай его! — коротко отрезывал он.

— Вот-бы змей-то запустить? — как-то нерешительно пытали мы Максима.

Глупый кучер ломался еще более.

— А мне что? Кому охота — пушай!

— Ты сердишься на нас, Максимушка?

Максим нарочно хмурился и молчал.

— Да-а? — настаиваем мы.

— Обнаковенно.

— За что?

— А за то... за хорошие ваши дела, — вот за что! — глядя в сторону, бормотал Максим.

— Разве я тебя обидел? Разве я тебя обидел? — приступал я к суровому Максиму, не чувствуя за собой никакой вины.

— А я? А я? — выступает за мной средний брат, Иван.

— Не об вас речь. Тут вас, обидателей-то, прорва: кто обидел, тот схоронился, да и молчит.

Слова Максима попадают прямо в цель.

— Врешь, я тебя не обижал, — врешь, врешь! — с азартом выдвигается тогда вперед младший брат, Семен, худенький, маленький, с белыми, как лен, волосами, ежом торчащими на голове.

— Как же не обижал-то?

— Так и не обижал.

— Как же так?

— Да так... Не обижал, вот тебе и сказ. Не обижал, не обижал, не обижал!

Максим вместо ответа низко нагибается, спускает голенищу, долго что-то теребит свои широкие шаровары и, наконец, оголивши ногу, показывает синяк.

— А это что? — торжественно произносит он.

— Врешь, это не я!

— Проси у него прощенья, — советуем мы Семену.

— Вот еще!.. Буду я у какого-нибудь кучеришки поганого прощенья просить, — держи карман!

— Нешто ты собака, этак-то кусаться? — продолжал свое кучер. — Да и пес, так и тот своего-то не рвет! А ты... гляди-ка, какой манер отыскал!

Семен сконфужен и некоторое время молчит.

— Ну хочешь, я тебе подарю камышевую дудку! — наконец, надумывает маленький брат, желая хоть как-нибудь выйти из неловкого положения и задобрить обиженного.

— Не надо мне твоей дудки.

— А она играет...

— Опостылел ты мне и с дудкой-то твоей,—бормочет Максим.

Но Семен непреклонен в своем намерении задобрить кучера игрушкой. Он на некоторое время выходит из комнаты и возвращается уже с дудкой. Ставши против Максима, маленький брат надувает щеки, как заправский музыкант, начинает наигрывать что-то похожее не то на скрип двух-трех дверей,двигающихся на ржавых петлях, не то на визг собаки, которой прищемили хвост. Сердце Максима мало-помалу смягчается: сначала раздвигаются сурово сомкнутые брови, затем добродушие начинает светиться в глазах и, наконец, мужик не может выдержать соблазна и осклабляется.

— О, ну' те — заиграл совсем! — с улыбкой удовольствия произнес кучер, махнувший рукой, отворачивая рожу в сторону, точно стыдливая девка.

— Хочешь, я тебя выучу, Максимушка?

— Учитель!.. Станешь учить, еще другую ногу закусишь.

— Ну, полно, полно! — уговариваем мы Максима забыть обиду.

— Да-ка-сь дудку-то!

Максим берет дудку из рук брата и долго не может приспособиться, попеременно извлекая из инструмента то какой-то храп, то звуки, напоминающие трение ножа об аспидную доску. Мы, разумеется, сейчас же начинаем его учить, как и что нужно делать языком и губами; наконец, Максим „вникает в дело“, как говорит он, и выдувает что-то похожее на звук. Звук этот несказанно радует музыканта, и он повторяет его, по крайней мере, добрую сотню раз, до тех пор, пока самому не наскучит дудить. Максим совсем размягчен.

— Максимушка, так как же змей-то? — пользуясь минутой, спрашиваем мы.

— Да ладьте, ладьте. Я что?.. Во мне не сумлевайтесь.

Мы с радостью набрасываемся на Максима и начинаем его мять и теревить. Такие заигрывания ему, видимо, нравятся, и Максим, как сытый кот, щурит глаза и бережно отводит нас от себя руками, нежно мурлыча: „О, ну вас! О, ну вас, раскошвалили всего“.

— Так, слушай, ребята, какое мое слово будет!—наигравшись с нами, решительно произносит Максим.

— Ну!—в один голос откликаемся мы.

— Слушай, что я буду сказывать!

Мы слушаем.

— Перво-наперво следует заворотить нам, братцы, змей настоящий, а не то, что как иные-прочие делают. А ладить мы его будем, ребята, утром, как только тятенька с лепортом уедет, и ладить будем — я так полагаю — на сеновале. Так или нет?

— А что же — и отлично! — хором соглашаемся мы.

— Лист бумаги,—продолжает Максим,—возьмем большой, александрыцкий; а бумагу-то достанем у луковичинского барина, у ево этого добра много.

— Да даст ли он?

— Да-аст. Я ему намедни кобеля водил на реку купать. — Дюжой такой кобель-то, что твой жеребенок, хоть верхом садись, так, идол, веревку из рук и рвет. Так он, барин-то, мне тогда еще сказал: „сочтемся“, говорит.

— Ну?

— Ну... тпру! Не запрег, а уж поехал, — острит Максим.

— Ну-у, Максимушка!

— Ну, трухмалу на склейку ноне-то оборудуем, драпицы опять же от барина возьму: — нитки, говорите, есть?

— Есть.

— Значит, ладно!

— А горб сделаем? — подробно допытываемся мы.

— И горб сделаем, и трещотки вяпаем, и бумажных зайцев потом по нитке пушать будем, — вот как!

— А еще что?
— А еще — ничего...
— Раскрасить бы его, змей-то.
— И-то... Разве дьявола, что ли, на змею-то нарестовать? — подмигивает Максим.
— Нарисуй, Максимушка!
— А и то нарестовать?.. Настоящего дьявола-то обозначить: с рогами его, окаянного, пропишем, глаза красные, пузо желтое, из пасти язык высунем... хвост тоже — метлой...

Мы только прыгаем от радости, слушая Максимово изображение настоящего дьявола.

Подобные приготовления, или лучше сказать, даже одни только разговоры о них, совершенно отравляют наше спокойствие. Целый день мы ходим в каком-то волнении, забывая о пище, и только и думаем, что о змее, только и следим всюду, что за одним Максимом: не несет ли он от луковичинского барина бумагу, не варит ли клейстер, не строгают ли драницы и прочее. Не менее тревожно проходит и ночь: то отягченные думами о змее, ворочаемся мы далеко за полночь с бока на бок, и не можем заснуть, а утомленный уснешь, так сны начнут тебе сниться, в которых главным действующим лицом является опять тот же искусьитель — змей. Видится нам, что и соседние-то мальчики его перекинули, и оборвался-то он, и не поднимается-то от безветрия, и наконец, что отец-то его увидел, отнял у нас и разорвал его в клочья. С какой-то щемящей болью в сердце не раз просыпаемся мы, трем заспанные глаза, вскакиваем с кроватей, ловим руками неуловимое, спасаем, отбиваем что-то, и разве, в конце концов, получаем тяжеловесные затрешины от старшего брата, который, пробудившись и слыша наш безалаберный бред, думает этим путем привести нас в сознание.

На утро мы просыпаемся ни свет, ни заря и первый наш вопрос: „где Максим?“ Если мы не находим его в кучерской, то тотчас же спешим в конюшню.

— Максимушка! Что же змей-то?

— О, ну вас к богу и с ним-то! Что это такое? Подбились эвона когда, еще черти в кулачки не бились, сейчас: „змеи!“ Дайте людям хоть зенки продрать, а то „змеи!“

Но нам брюзжанье Максима ни к чему; мы неотвязчиво вертимся вокруг него и ждем не дождемся той счастливой поры, когда отец уедет с рапортом по начальству. Наконец, вожаденный миг настает: Максим выводит лошадь из конюшни в каретник и начинает ее седлать. На всю эту процедуру мы смотрим сквозь щели в тонкой перегородке, отделяющей конюшню от каретника.

— Глядите, подпругу затягивает, — слышится шопот.

— Врешь, стремя отпускает! — перебивает другой детский голос.

— Ая, врешь, подпругу!

— Ну, смотри, смотри! Разве это подпруга?.. А еще споришь, дурак!

— Ну-ка, пусти-ка меня сюда посмотреть.

— Да, как-же, так и пустил.

— Хорошо, я тебе это припомню, ежонок проклятый!

Раздается шлепок.

— Ванька! Что ты дерешься, когда тебя не трогают свинью? — вдруг прорезывает тишину громкий возглас.

— Ну, господа, уж вы дождетесь, что папенька услышит.

— А он зачем мою шелку занял?

— Врешь, она не твоя, я сам ее наемни проколупал.

Но завязавшийся было спор, к счастью, тотчас же и прекращается, потому что мы видим, как Максим берет лошадь под уздцы и выводит ее к крыльцу флигеля. Скоро выходит отец, садится на коня и съезжает со двора, к великой нашей радости. Мы, разумеется, сейчас же впиваемся в Максима и по крутой лестнице лезем с ним на сеновал.

Я не буду рассказывать здесь следовавшую за всеми такими тревожными длинную историю создания змея, историю, в которой, как всякий догадается, мы прини-

маем самое живейшее участие. Вся эта операция тянется, пожалуй, несколько часов, потому что по несколько раз приходится размеривать и соображать, то укарачивать, то удлинять, клеить и снова переклеивать, а потом еще разрисовывать, да подвязывать путцы да перепутцы, да натягивать горбы, да устраивать трещотки, — словом, кто клеивал змеи, тот поймет, скольких хлопот стоит эта клейка, а кто не клеивал, тому сразу-то и не расскажешь. Ну, да как бы там ни было, но все-таки, долго ли, коротко ли, а змей слаживался. Правда, он всегда почти выходил несколько кривобок и достаточно таки тяжеловат; правда, нарисованный на нем „настоящий черт“ хотя и имел, по соображениям Максима, законные красные глаза, желтое пузо и хвост метлой, тем не меньше чорт этот скорее походил на какую-то невинную рыбу, чем на известного врага и хитрого соблазнителя рода христианского, — ну да за этими мелочами мы не гнались; нам был нужен змей, и теперь он был у нас — вот и все! Высушить склеенный змей — дело нескольких минут; стало-быть теперь весь вопрос в том, как и когда запустить его.

Обыкновенно змей запускался между двумя и шестью часами, то есть в то время, когда отец отдыхал после обеда; лучшим же временем считалось то же послеобеденное время, но только когда отца совсем не было дома; летом же это случалось довольно часто, потому что отец имел обыкновение довольно часто ездить верхом за город, на арендуемые им сенокосные луга, где и оставался до поздней ночи. Запускался змей прямо на улице, так как во дворе было тесно, и запускал его сам Максим, а мы были только помощниками. Толпы зевак обоих полов и всех состояний и возрастов теснились вокруг нас и сопровождали криками одобрения или насмешками каждое удачное или неудачное восхождение змея кверху. Когда змей поднимался, как следует, и устанавливался, его переводили во двор, и конец нитки Максим вручал кому-нибудь из нас (впрочем, в держаньи

в того конца строго соблюдалась чередовка, так как такое держанье считалось наивысшим удовольствием), причем другие двое в волнении бегали по улице и наблюдали, чтобы змей не был перекинут. Сам же Максим в это время влезал на крышу дома и оттуда озирает всю окрестность, тотчас же давая нам знать о покушении, если только такое кто-нибудь замышлял где-нибудь.

Трегубихин Антошка перекидывает!—кричал с крыши Максим.

Мы стрелой летели к дому Трегубихи, и если ее Антошка не прятался вовремя, то ему приходилось плохо.

Только-что мы разделялись с Антошкой и возвращались домой, как снова раздавался тревожный крик дозорного.

— Га-анька кучерявый!..

Открывался новый поход против Ганьки кучерявого, нередко сопровождавшийся такой свалкой, в которой только клочья летели с обеих сторон.

— И что же это за разбойники! — диву давались соседские бабы. — То-есть, кажется, с этим своим змеищем поганым сколько они народу перепятнают, так, просто, видимо-невидимо.

После двух-трех таких малых баталий враги наши на некоторое время смолкают, и змей величественно красуется в высоте. Каждый из нас за это время уже несколько раз наслаждался держанием конца нитки и, повидимому, мир и тишина водворяются кругом, даже сам Максим прикурнул на коньке крыши и озирает окрестность уже не так ревниво, — как вдруг змей наш, видим мы, начинает козырять, опускается, описывает несколько громадных дуг в воздухе и затем далеко-далеко где-то падает. Максим сначала поражен, но потом, исполненный негодования, не сходит, а буквально скатывается по лестнице с крыши, и тут уж мы все, четвером, с яростью бросаемся на поиски. Поиски эти не долги. Проходит несколько лишь минут и—о, ужас! — Возвратившись домой, вместо змея мы приносим только

одни клочки да обрывки ниток, что означает, что баталия была где-то великая.

— Это разбой! Нет, сударыня, позвольте вам доложить, что это настоящий разбой: они у меня все окна камнями повывили!—бушует на дворе чиновник Скоропелов, горячо жестикулируя перед матушкой, стоящей на крыльце флигеля.

— Извините, я без мужа ничего не могу.

— У меня жена беременная, а они камнями в кулак жарят, — разве это по закону? Опять вон — глаз... Ведь человек подначальный.

Матушка молчит, стороной посматривая на огромный фонарь, красующийся под чиновничьим глазом.

— Я змей перекинул любопытства ради, — продолжает чиновник, — и вдруг, на-ка-сь, все стекла повывахают... Нет, вы доложите супругу, как угодно-с?.. Это что же-с?.. А то я прямо к губернатору...

— Я скажу, скажу.

Чиновник раскланивается и уходит.

— Дети,—кличет нас матушка.

Зов ее теряется в пустынной тишине двора.

— Мальчики! — усиленно зовет матушка.

Но мальчиков, разумеется, отыскать нелегко; мы запрятались кто куда успел и, молча, дрожим, выбирая между страхом наказания и страхом надвигающейся черной июльской ночи.

II

Учить нас начали довольно поздно — поздно для меня, которому было в это время уже далеко за восемь лет. „Ученье—не волк, в лес не уйдет“, говаривал, бывало, отец, или: „Что мальчишек-то задарма мучить с этих пор, пускай еще погуляют немножко.“ Главным же образом позднее ученье зависело, просто-напросто, от расчета: нанимать учителя для одного считали невыгодным, потому терпеливо ожидали, пока подрастут другие дети. В учителя нам был дан какой-то злополучный

приказный, из исключенных семинаристов, жалкий такой, любивший выпить, рябой, некрасивый и, вдобавок ко всему, заика. Учились мы, мальчики, во флигеле, утром, в то время когда отец уезжал по своим делам, так что высшее-то начальство во время ученья представляла собою для нас мать, отягощенная и без того многочисленными заботами и хлопотами по хозяйству и потому не имевшая досуга следить за нашими занятиями. Учебной комнатой служил нам зал, по середине которого на время ученья ставился стол, и мы присаживались к этому столу таким образом, что лица наши были обращены к окнам, а не к дверям, ведущим в другие комнаты, из которых беспрестанно выскакивали сестры, с гримасами и кривляньями, и, разумеется, мешали нашему ученью. Впрочем, как увидим дальше, все эти предосторожности мало помогали делу. Предметами обучения были: закон божий, по „Начаткам“, арифметика, по разуму учителя, грамматика, по тому же разуму, и чистописанье. Класс обыкновенно начинался молитвой.

— Н-н-ну-к-ка! — заикаясь, командовал учитель, указывая на образ.

— Ну-ка, „паки и паки“ валяйте! — командовали, в свою очередь, высунувшись в дверь, сестры.

Мы вместо молитвы раздражались неудержимым хохотом.

— Ай я от-таскаю! — грозил нам учитель.

— За что же таскать-то, Иван Петрович, когда девочки нас смешат?

— Б-ба-рышни, я маменьке..

Сестры прятались.

После короткой паузы, лишь только мы рассаживались по местам и, еще не открывая книг, уже дружно и звонко голосили в три детские горла: „Един бог, во святой троице покланяемый“, — как сестры придумывали какую-нибудь новую штуку.

— А вон петух по двору идет, — слышался голос сестер сзади нас.

— Б-барышни!..

Голос смолкал на минуту.

— Смотрите-ка, да он в трехугольной шляпе,—опять раздавался голос.

Мы приподнимались с мест.

— С-с-си-д-дите!—Б-барышни!..

Снова наступила маленькая пауза.

— „В четвертый — солнце, луну и звезды“, — звучали в комнате наши высокие голоса.

— Ну, смотрите, ради бога! Посмотрите хоть, вы сами, Иван Петрович, ведь он идет прямо сюда, с саблей на плече, — в ужасе кричали выдумщицы.

Сзади нас при этом раздался топот, из которого следовало заключить, что сестры как-будто намерены ворваться в нашу учебную комнату и посмотреть в окна. Чтобы предупредить их, мы тотчас же вскакивали со своих мест и, несмотря на все уговоры и угрозы учителя, стремительно бежали к окнам: учитель волей-неволей бросался за нами, чтобы остановить нас и рассадить по местам. Поднимались беготня и свалка; ученики бегали от окна к окну, а разъяренный учитель гонялся за нами, ученики увертывались, а учитель ловил их за уши и поймавшего драл без всякого милосердия. Сестры же, между тем, пользуясь сумятицей, действительно, врываются в классную, но вовсе не затем, чтобы посмотреть на петуха с саблей, шествующего по двору, а просто затем, чтобы опрокинуть наши стулья, перевернуть стол и побросать на пол книги и прочие учебные принадлежности; так что, когда учитель успевал, наконец, изловить нас, учеников, и притащить к месту ученья, в комнате господствовал уже полнейший хаос.

Б-барышни!—хватая себя с отчаянием за голову, восклицал несчастный ментор.

Начиналась разборка и установка.

— С-садитесь!—приказывал нам учитель.

— Нет, мы не сядем; зачем ты дерешься, кутейническая морда?

— И-й-я вас не бил, — теряется наставник.
— Как не бил? Ах, ты, блинохват!
— Разумеется, бил, семинаристишко поганый! — вступаются за нас сестры.

— Н-н-нет!

— А это что? Это что? — показываем мы учителю красные уши и хором запеваем, чтобы окончательно насолить ему:

Кутейники, блинники
Через тридцать могил
Перервали один блин,
С маслом!

— „С маслом!“ — дружно подхватывают сестры.

Ментор выходит из себя, грозит, уговаривает, машет на нас линейкой, но ничто не помогает. Наконец, Иван Петрович делает движение к двери, ведущей на кухню.

— Сейчас пойду к мамаше. Вот будь я анафема проклят, если не пожалуюсь!

Маневр оказывается убедительным. Бунт, повидимому, прекращается, и мы попрежнему громко начинаем выхنيковать по „Начаткам“ повествование о сотворении мира.

Но эта тишина лишь минутная, потому что сестры не могут остановиться в своих выдумках и непременно в это время замышляют какую-нибудь новую проказу. И, действительно, едва мы успеваем несколько успокоиться, едва с грехом пополам отбарабаниваем „Начатки“ и принимаемся за арифметику, как, слышим, сестры о чем-то уже шепчутся за дверями. Мы настораживаем уши.

— Нет, мальчикам не нужно говорить, пускай их учатся, — шепчет одна проказница.

— Ах, нет! давайте лучше скажем им. Зачем же их, бедных, обижать? — противоречит ей другая.

Мы отлично знаем, что сестрам вовсе не о чем нам говорить и что все эти шептанья — чистейший вздор,

тем не менее, бес любопытства начинает нас смертельно мучить.

— Ты говоришь, сама видела? — продолжают сестры.

— Как же, сейчас видела.

— И что же, много?

— Мно-ого!.. Только, если мы пойдем одни, так мальчикам ничего не достанется.

— А я сейчас им скажу.

— Не го-в-ори! — притворно упрасивает другой голос.

— Нет, скажу. Я не такая, как ты, я не могу не сказать, потому что они мне братья.

— Ну, скажешь, так я тебе никогда не дам своих кукол играть.

— А вот, скажу же! Сейчас скажу!

Сестра откашливается, высовывает голову в дверь и торжественно произносит:

— Дети! Мальчики! Мак принесли, маковники...

Хотя нам положительно известно, что никаких маковников не приносили, однако, при словах „мак“ и „маковники“, мы невольно поднимаемся со своих мест.

— Р-ра-ди б-бога, сидите, — привскочив на стуле и загораживая нам путь руками, заикается злосчастный Иван Петрович.

— Ну, не верите, так мы одни пойдем есть.

— И мы! И мы! — невольно вырывается у нас возглас.

— Девочки, пойдемте!

Сестры ухватываются одна за другую и вереницей пробегают через учебную комнату, направляясь к кухне, где, по их словам, находится соблазнительный мак. Напрасно учитель встает с места, напрасно он делает какое-то уморительно-грозное лицо и решительно становится на дороге, по которой мы можем устремиться за сестрами, — нас уже не удержать. Подобно бурному потоку, ниспровергающему все попадающееся на пути, пригнув головы книзу, как пули, пущенные из ружья, бросаемся мы к дверям, и грозно-смешной Иван Петрович, делать нечего, уступает и летит следом за нами.

Сестры, между тем, вовсе и не думают бежать на кухню, где, разумеется, нет никакого мака, а ни больше, ни меньше, как оббегают кругом и через другие комнаты прыгают в классную, где сию же минуту и ставят все вверх ногами.

Из кухни нас приводит назад сама матушка.

— Это что? Что это такое? строго спрашивает она.

— М-а-а-а-к! М-м-а-а-к-ко-вники! — совершенно не может уже и слова произнести сконфуженный и растерявшийся учитель. Стараясь как можно скорее изложить причины неурядицы, Иван Петрович делает такие страшные гримасы, точно во рту у него перекачивается от щеки к щеке пылающий уголь.

— Кутья, маменька, все дерется с нами! — разом устремляются на учителя несколько обличающих его пальцев.

Учитель еще больше теряется от таких обличений; он знает, что матушка драки и драчунов терпеть не может.

— П-п-пальц-ц-ем не тр-р-р-рогал! — лепечет он неизвестно что.

— Ну, затрещала трещотка! — высунув голову из двери, вступает в разговор старшая сестра. — Ишь, рябая форма, хочет сказать, что пальцем не трогал, да, небось, бог-то не попускает соврать.

Сначала раздается общий смех, а потом поднимается гвалт. Матушка стоит на пороге в недоумении.

— Мне вон ухо оторвал, — жалуется младший брат Семен.

— Заплачь, заплачь! Нарочно заплачь! науськивают его сестры.

Маленький брат повинуется и трет кулаками глаза.

— П-пальцем не трогал! — собравшись с силами, наконец, довольно твердо докладывает маменьке учитель.

— Как же не трогал? Как же не трогал? Ах ты, бесстыжие твои бельмы! — горячо защищает правду сестра и, увлекшись, выдвигается даже на середину комнаты. — Мы сами, маменька...

— Это что?! Женский пол, да в мужские дела вступаться стал, — прочь отсюда! — строго прикрикивает на сестру матушка и даже, для большей вразумительности, топает ногой.

— А он не ври! — бормочет сестра и нехотя уходит в свою комнату,

— Учиться! Сейчас же учиться! — обращается к нам матушка. — Вот я посмотрю, как вы у меня не будете слушаться? — прибавляет она сурово и становится в дверях.

Мы повинемся. Так как мы знаем, что маменьке очень нравится, когда мы читаем вслух, то, не дожидаясь приказаний учителя, что нам делать, мы раскрываем „Начатки“ и принимаемся голосить во все горло: „един бог, во святой троице покланяемый“. Матушка стоит и слушает. Голоса наши раздаются по классной все звончее и звончее и, как-будто, вместе с этим усиленным хором голосов все добрее и добрее делается лицо матушки: глаза блестят от удовольствия, и улыбка, ласковая ласковая такая, играет на ее губах.

— Иван Петрович, подите-ка сюда! — наслушавшись, выходит матушка из зала и вызывает за собою учителя.

Ну, что дальше будет, мы отлично знаем. Мы знаем, что, вышедши в другую комнату, маменька подойдет к шкафу, отомкнет его, вынет оттуда графин водки и, наливши стакан, поднесет этой самой водки учителю: знаем, как потом, отвечая поклоном на благодарность учителя, матушка, как-будто, мимоходом скажет ему: „да не пора ли окончить, а то заучились они совсем?“ — и как Иван Петрович коротко, но с полнейшим удовольствием ответит ей: „слушаю-с!“ — знаем мы все это, и потому, чтобы не ударить лицом в грязь, ревом что есть мочи, отчеканивая каждый слог:

— „Но земля была необработанна и пуста...“

— Дети, идите лепешки есть! — высунувшись в дверь, приглашает нас матушка.

Мы быстро вскакиваем со своих мест, сестры вылетают из своей комнаты и, сцепившись за руки, целая ватага

детей начинает кружить по зале, напевая, приплясывая и присвистывая.

— Ну, ну, дурачки, идите же! — повторяет матушка.

Ватага сваливает к завтраку.

Таково или почти таково было наше обыкновенное, ежедневное ученье. Разнообразилось оно иногда разве тем только, что, соскучившись терпеливо сносить щелчки и тому подобные обиды от учителя, мы открывали против него поход, в котором не последнюю роль играли и сестры. Поход открывался обыкновенно плевками, но когда раздражение с обеих сторон достигало своего крайнего предела, начинался рукопашный бой. И грустно и смешно делается теперь, когда вспомнишь этого гиганта, оторопелого, растерзанного и притиснутого к стене маленькими воинами; точно Гулливер, связанный храбрыми лилипутами, представляется мне атакованный нами Иван Петрович. Напрасно несчастный учитель страшает, упрощает и ревет во все горло, — „ва-а-ляй его!“ — восклицает воинство лилипутов и, как горохом, осыпает ударами. В таких случаях даже, если являлась на сцену матушка, так и ей не скоро удавалось остановить сражающихся, а разборка причин и последствий подобных битв всегда откладывалась до приезда домой отца, к которому с жалобой на нас уже и обращался тогда злополучный Иван Петрович.

Вообще, ученье было для нас хуже острого ножа, и мы отбивали его словно какую-нибудь тяжелую поденщину. Неизмеримо приятнее были для нас ученые разговоры с кучером Максимом, по-своему, но зато тихо и охотно, дававшим ответы на предлагавшиеся ему вопросы.

— Максим, ты слышал, что земля вертится?

— Как вертится?

— Так и вертится. Вот так! — описывали мы в воздухе круг.

— Вы наскажете... от большого-то ума.

— Нет, это не мы рассказываем, а это нам Иван Петрович сегодня сказал.

— Известно, как он шкалика три в себя запустит, так у него все вокруг завертится.

— Нет, он трезвый это рассказывал.

— Да когда он тверезый-то бывает, вы его спросите...

— Сегодня, сегодня был,—утверждаем мы.

Максим только рукой машет.

— Да еще он что говорил: и земля, и звезды — все вертится.

— Ну, про землю вы там, что хотите, болтайте, а про звезды этого не говорите, потому звезды — угодницкие души. Тут с вами, из-за этих разговоров, такого греха на душу примешь, что опосля у семи попов не спокаешься.

Кучер минуту думал; известие о вертящейся земле, повидимому, очень его интересовало.

— Вертится!—скептически улыбался Максим. — Вы-то сообразите, умные вы головушки, что вон кнут какой-нибудь подымешь на улице — грош ему цена—так и то тебя на все шабры огласят; яйцо из-под чужой курицы вынешь, так и за это тебе проходу не дадут; а то стала бы земля вертеться, а люди стали бы молчать: „вертись, мол, матушка!“

Против такого довода мы ничего не могли возражать.

— Вертится!.. А кто ее вертит? — строго вопрошает кучер.

— Бо-ог.

— Ну, вы, братцы, перекреститесь сперва,—решиительно произносит Максим и отворачивается в сторону.

Такое суровое обращение с нами Максима нас несколько коробит, и мы сейчас же придумываем какую-нибудь шпильку, которую и вставляем ему.

— Вот если бы ты учился, как Иван Петрович, так ты бы знал, — замечаем мы Максиму, для которого нет обиды горше, как сравнение с Иваном Петровичем, а не то что даже превознесение Ивана Петровича над ним.

— Учился?!—презрительно восклицает Максим.—Да я, может быть, этого вашего с Иваном Петровичем ученья

в сто разов боле вас принял! — горячится он, понимая под ученьем вообще именно то ученье, которое давалось нам, то есть дранье за уши, колотушки и прочее.—Учился? Разе меня этак-то учили? Нет, брат: вожди, так пожжами, ухват, так ухватом, кнут, так кнутом,—вот как мсня-то учили! А то Иван Петрович, да Иван Петрович... Скажи, какой ученый! Рванида какая-то, да-право!

— Ну, а если б ты был учитель?

— Так разве этакой был бы...

— А какой же?

— Уж я знаю, какой!—многозначительно изрекает кучер.

— Чему же бы ты стал учить?

— Ничему. Я бы сейчас всех мальчишек распустил: гуляй, ребята! Довольно вас и без меня мучили.

— Так тебе бы тогда, значит, и учить некого было.

— Как так?

— Да ведь ты бы всех распустил, стало быть никого бы и не осталось.

— А никого, так и плевать! Опять бы в кучера пошел.

Словом, в рассуждениях о своих учительских способностях Максим как-то путался, и все такие рассуждения, в конце концов, сводились или ни к чему, или они сердили Максима, и он коротко заканчивал такую беседу восклицанием: „Да отлипните вы от меня! Ведь вы хоть кого, так запутаете!“

Кроме ученья наукам, в это же время нас обучали и танцам, на какой предмет был приглашен отпущенный из дворовых комедиантов какого-то помещика, некто Лепешкин, известный в С. более под именем „мусье Лепеше“. Этот Лепешкин или Лепеше учил нас полгода или больше, давал по три урока в неделю, но никаким тайнам хореографического искусства не обучил, а научил только красть водку из родительского шкафа, которую мы обязаны были аккуратно поставлять ему перед каждым классом.

— Ну, что ж ты, брат мусью, учишь, учишь ты их, ан, кажется, проку-то никакого из твоего ученья не выходит? — долго и терпеливо ожидая танцовального проку, наконец, решилсЯ заметить мусью Лепеше отец.

— Скоро, ваше благородие, нельзЯ—эта наука тугая.

— Эх, смотрю, смотрю я да, как водится, возьму да и прогоню тебя!

— Нет, зачем же, ваше благородие, сомневаться: они вдруг пойдут...

— Да где же пойдут? Ходу-то этого я что-то не вижу.

— Вы позвольте, ваше благородие... У генерала Несомненного — раз, у помещика Собакина — два, у помещика Новосбруева — три, еще у генерала... вот фамилию-то забыл, — в четырех местах этак же было: не шли, не шли да вдруг и махнули!

— Ну, вот посмотрю еще недельку, другую.

— Да уж что тут сомневаться, за первый сорт пойдут.

Отец терпеливо ждал не недельку, не две, а еще полтора, два месяца, но мы не только что не „пошли“ в это время „за первый сорт“, а решительно-таки не пошли, никак не пошли, почему танцовщику, мусье Лепеше, и было отказано от уроков.

III

Волга до справедливости может назваться колыбелью нашего невеселого детства. С самых ранних лет, как только нетвердые наши ноги выносили нас на двор, как только новичку удавалось проведать про уличные и про задние ворота, перелезть через забор к соседям, зашибить камнем соседских собаку или курицу, а тем больше сцепиться за волосы с каким-нибудь соседским мальчиком и оттрепать этого последнего до горячих слез, тогда уже новичек переставал быть новичком, но, исполненный отваги, готов был на все, а прежде всего, разумеется, на знакомство с Волгой. Знакомству этому не-

мало способствовало и то обстоятельство, что заманчивая река была всего лишь в нескольких шагах от нашего дома, построенного на улице самой ближайшей к Волге! Волжская жизнь наша распадалась на два резких периода: на летний и зимний, причем осень и весна относились к летнему периоду. Из этого видно, что летний период, прежде всего, был длиннее зимнего; но, кроме того, он был и разнообразнее и веселее, потому что тут можно было и купаться, и ловить рыбу, и кататься в лодке, и, просто, засучив панталоны выше колен и держа сапоги в руках, итти по воде вдоль берега, примерно версты две, три, для большего удовольствия поднимая и швыряя камни в волны; тогда как зимою на Волге можно было только кататься на салазках и ничего больше. Да и кроме-то всего этого, летний период уже потому был несказанно лучше, что тут во всякое время можно было стрелой лететь на Волгу, тогда как зимой нередко заворачивали такие морозы, в которые нельзя было высунуть носа даже за порог, на двор, а не то что замышлять какие-нибудь дальние путешествия.

Летний период, по нашему времяисчислению, начинался довольно рано, так, приблизительно, с конца марта, то есть как раз с той поры, как только весело заиграет на небе весеннее солнце, а на земле побегут ручейки и то там, то сям покажутся прогалинки — так чуть заметные ленточки земли — хлопотливо закудахтают куры, докапываясь до зерен и червей, и громко задерет горластый петух, — вот для нас и начало летнего периода! Какое нам дело до того, что порядочные морозы еще позимнему знобят и нос, и уши, что вся природа еще закована в ледяную кору и что оттаявшее сегодня заносится и хоронится под снегом на завтра, — уже одно дыхание весны ключом кипятит нашу кровь и так и тянет, так и тянет на волю, на простор.

— Уж теперь Волга скоро трогаться будет, — дрожа и дуя в кулаки, беседуем мы между собою, прыгая на солнечном пригреве.

— Да уж она, говорят, тронулась,—сообщает кто-нибудь.

— Тронулась... Разве она теперь трогается?—возражал другой, человек более смысленный. — Когда Волга-то тронется, так солнышко не здесь будет стоять, а вон там, за колокольней,—показывает смысленный человек пальцем на небо.—Волга-то тронется,—с важностью продолжает рассуждать смысленный,—так снегу на дворе у нас ни капельки не останется, а куры уж вон там рыться будут, у погребца.

— А это скоро?

— Ну, братец, еще не так скоро... Это вот у нас теперь месяц, так весь этот месяц до конца пройдет, а там будет опять месяц—так уж в том месяце, так в половине уж, пожалуй. Вон оно еще когда! Да вот, как!—спохватывается смысленный человек, припоминая самое решительное доказательство. — Вы помните дорогу, что сейчас позади судов идет?

— Какую?

— Вот, дураки, какая? Вот на которой Андрюшка Ломаный еще меня льдиной в спину хватил, а мы его потом отвалили? Еще секли-то нас когда? Ну, да которая рылом-то ко второй части стоит?

— Ну,-ну?!

— Ну, так вот, когда эта дорога рыло-то от второй части сперва на ту сторону поворотит, а потом так и за-а-гнется вся, как круглая станет,—так вот тогда и Волга пойдет. А теперь еще, я вон вчера видел, по этой дороге мужики ездят,—значительно подмигнув, заканчивает смысленный.

И действительно, долго, долго приходится нам ждать, пока „дорога поворотит рыло“, а затем „загнется“; не один десяток раз наведем мы справки о Волге у людей знающих, да не один десяток раз сбегает и сами посмотреть, в каком положении находится дело. Наконец, ожидания наши начинают приходить к концу; числам к десятым апреля, слышим, начинают поговаривать,

что за столько-то верст от С. Волга тронулась, там-то ее сломало, там-то почернела она и вздулась. Тут уж время считается часами, минутами...

— Волга идет! — вдруг раздается радостное известие.

Мы стремглаз бросаемся на берег и видим толпы народа, теснящегося и глазающего на бушующую реку. Дорога, поворот которой считался одним из несомненных признаков того, что река тронулась, видим мы, действительно, мало того что изогнулась, стала поперек и поворотила из одной стороны в другую, но даже изломалась вся, разорвалась на части и клочьями плавает то здесь, то там. Скрипят суда, подпираемые громадными льдинами, трещат и лопаются страшные по толщине канаты и, как легкие гвозди, пляшут в своих гнездах глубоко вогнанные в берег стопудовые якоря. Лед несется с необычайной силой. То, задержанный где-нибудь посредине реки, напирает он и наворачивает целые ледяные горы до тех пор, пока не прорвет подставленную ему плотину и не устремится дальше, по течению; то, словно соскучившись одолевать преграду, бросится он к берегу, на суда, и как легкие щепки в одну минуту выбросит их на сушу. Повсюду крик и смятение; только и слышны везде, даже уже охрипшие от натуги голоса: „задержидай! отпущай! чаль!“ и прочее и прочее.

Долго мы наслаждаемся величественным зрелищем ледохода; разве уже сумерки пригонят домой и оторвут от Волги; но и тут только и разговоров, что о Волге, только и спора горячего, что о ней одной. А планов сколько, предположений!..

— А купаться скоро?

— Теперь уж скоро.

— А ведь, я думаю, некоторые уж и сейчас купаются?

— В холод-то?!

— А что же, что холод-то. Я бы попробовал, — выискивается смельчак.

— Ты мели, мели, Емеля! — осаживает смельчака Максим.

— Так что же?

— А то же, что тятенька как услышит, так он тебе шкуру-то от шеи вплоть до пят и спустит.

— Так тихонько надо.

— Да ты-то, известно, тихонько выкупаешься, а лихоманка-то за то, взяв тебя, трепать начнет, вот тогда шкурой и отдувайся!

Смельчак, повидимому, удовлетворяется такими неотразимыми доводами и смолкает.

Начинаются разговоры более обстоятельного свойства: об ужении рыб, о катании в лодке и т. п.; вытаскиваются на сцену все аппараты ужения, далеко запрятанные на время зимы; идет разборка, поправка, переделка.

— А кто, господа, у меня грузило вот отсюда оторвал?

Оказывается, что никто не отрывал.

— Ну, как хотите, господа, а это подло!

— Ей-богу не отрывал! Вот не сойти с места!—божится обвиняемый в похищении грузила.

— Известно, еженок оторвал, — указывает Максим на маленького братишку.

— Что ты врешь, зеленглазый! — окрысивается еженок.

— Он, он! Сейчас умереть, он взял! — клятвенно заверяет кучер. — Я ему еще в те поры говорил: „Сема! Зачем ваянтинку штуку берешь?“ — а он ухватил, да и марш!

Ежонку за такое похищение сейчас же влетает подзатыльник; еженок намеревается отплатить тем же, но, к несчастью, промахивается, а ему, тем временем, влепляется другой.

— Ну, эго не дело. Одново еще ударить можно, а зачем же еще-то?—вступается Максим.

— А он не воруй!

Маленький Сеня трет глаза.

— Ну, ну, не три глаза-то. На вот удочку!—задобривает обидчик.

— Да, два раза ударил, а одну удочку даешь...

— А сколько же тебе?

— Третьего, вон, дня всего один раз ударил, да и не так больно, а и то две бабки дал на мировую.

— На, на, жадный! — прибрассывает Иван обиженному еще одну удочку и мировая слаживается, благо купить ее было не слишком дорого.

Впрочем, эта маленькая размолвка не кладет ровно никакой тени на наши дружественные отношения, что видно из того, что через минуту 'недавние враги' — Ваня и Сеня, уже ладят вместе новую удочку и обдумывают, когда и каким манером проникнуть в соседский сад, чтоб вырезать там хорошее удилище.

— У них много, мно-ого теперь вишневых деревьев привезли садить, — вот намахать бы удилищ.

— Да ведь, коротенькие?

— Какое коротенькие: вон, выше Максима.

— А ты видел?

— Еще бы не видел, я уж два раза к ним лазил через забор, все искал, нет ли на деревьях клею.

— Нет, знаете, братцы, где я удилище-то видел?

— Где?

— Вот так удилище!

— Да где?

— В церкви, вот где!

Все смеются.

— Вы не смейтесь, ей-богу, видел! Это, знаете, у сторожа-то длинная палочка, еще на конце-то которой восковая свечка... вот которой он паникадила зажигает, вот бы на удилище-то подтибрить?

— А где ее найдешь?

— Так поискать надо.

— А он те, сторож-то, этой палкой да вдоль спины, — вставляет Максим. — Уж чего, кажется, легче: перелез к соседям, наломал вишеннику — и конец делу, так нет, пойдем в церковь, да отыщем сторожеву палку... Ай-же, и умны вы, как посмотрю я на вас, ребята!

Несколько дней идут подобные разговоры и приготовления, несколько дней бродим на Волгу и только любимся ходом льда, да разве пошвыриваем камня, составляясь в дальности их полета. Наконец, к удовольствию нашему, лед начинает редеть, кое-где показываются лодки, на которых отважные пловцы, пробираясь между разредевшими льдинами и с риском быть задержанными ими, ловят разметанные ледоходом дрова, бревна, осколки разбитых судов и прочее. То лед сплывает далеко вниз и образуется громадная полынья, вдоль и поперек которой сейчас же заснуют лодки, гоняясь за добычей, то вдруг прорвет где-нибудь сверху и целыми площадями устремится ледяная сила по течению, грозя неминуемым разрушением всему, что только осмелится стать ей на пути. Боже! Какой переполох пойдет тогда между смелыми пловцами! Одни бросаются вниз, по течению, другие стрелой летят прямо, наперевал, надеясь достигнуть берега раньше, чем льдина пересечет их путь, третьи взбираются на самую льдину и, с опасностью провалиться, бегут по ее краю, таща за собою свой челнок, в который тотчас же и садятся, как только успеют выбраться в безопасное место. С берега всякий такой отважный маневр приветствуется аплодисментами и громкими возгласами „ура!“, далеко, далеко прокатывающимися по беспредельной поволжской и заволжской шире.

В первый же день, как только отец отлучится из дома на достаточно продолжительное время, мы вооружаемся удочками и спешим на реку. Сначала, одолеваемые нетерпением поскорее забросить уду, мы забрасываем ее где придется и, разумеется, совершенно бесполезно, но потом, когда первый пыл пройдет, делаемся строже в выборе и отыскиваем заправское место, где уж тогда начинается ловля серьезная.

— Гляди! Гляди! Клюет!

— Что же ты орешь-то?

— П-п-одсекай! — раздается нетерпеливое шипенье.

— Вот как я тебя удилищем вытяну, так ты будешь меня учить, дурацкая твоя морда!

— Сам дурацкая морда. У него клюет, а он ворон ловит.

— Не у тебя клюет, так и молчи, осел! — вытаскивая из воды удочку с объединенной наживою, щетинится прозевавший рыбу.

— Нет, шалишь! Не сига́й, не сига́й, не сорвешься! — с непритворным восторгом кричит, наконец, счастливцев, вытащивший первую рыбу.

— М-миленький, покажи! — разом бросаются к нему братья.

— Ершонок! — причмокнув, показывает рыбку счастливцев.

— Голубчик, какой крохотный!

— Да-ай, поддержать! Да-ай, христа ради! Ну, хоть один разочек.

— Как же, так и дам мучить...

— Ну, поднеси хоть поближе посмотреть.

— Вот, смотрите. Да нечего руку-то протягивать — смотри глазами.

И долго, долго идет рассматривание злополучного ершонка, точно какого-нибудь невиданного дива. С подобным восторгом разве только одни чиновники встречают первый чин, несмотря на то, что он ни больше, как коллежский регистратор.

Если нам удастся на первый раз изловить несколько таких рыбушек, мы являемся домой исполненные необычайной гордости и сознания собственного достоинства. Улов несется прямо в кухню и выкладывается на стол.

— Ну-ка, смотри, Домна! — важно командуем мы кухарке.

Но тут нам сейчас же готовится удар.

— Матушки! Иде вы таких горьких понабрали? — просто душно удивляется кухарка. — Мотри, снулых иде-ни-будь нашли. Ды, право!

— Молчи, дура, когда ничего не понимаешь!
— Да как же, господчики, молчать, когда вы у меня стол ими теперь опоганили?

Обиднее таких глупых слов, разумеется, и быть ничего не может. Мы уже сучим кулаки и готовимся вступить с дерзкой бабой в рукопашный, как вдруг в кухню является матушка, а за ней тянется целая вереница сестер. Восторг счастливого улова снова наполняет наши сердца, и мы бросаемся навстречу к матушке.

— Мамочка! Миленькая!..

— Пойдите, пойдите! — отстраняет нас рукой матушка.

— Вы посмотрите...

— Да я и то смотрю, — перебивает нас матушка, и действительно, смотрит, только не на рыбу, а на нас.

Мы смущены.

— Вы где были?

— Мы рыбу ловили.

— Да разве так рыбу-то ловят?

— Батюшки вы мои! — хором восклицают сестры.

— Вы посмотрите на себя, — советует нам матушка.

Мы смотрим и тут только замечаем, что мы по пояс выпачкались в грязи; в смущении бросаем мы взгляд на свои руки и тотчас же прячем их куда-нибудь подальше, потому что руки эти чернее, кажется, голенища.

— Да где вы были, вы мне скажите? — допытывается матушка.

— Мы рыбу ловили.

— Так разве я не знаю, как рыбу-то ловят?

— Мы на самом хорошем месте были... на рыбном.

— Какое же это такое рыбное место? Вы, просто, где-нибудь в болоте валялись.

— Нет, вы, мамочка, на Мишу-то, на Мишу посмотрите! — указывают сестры. — А Ваня-то, Ваня-то! А ежонка, того так даже и не видно совсем: весь в тине вымазался, и с ушами.

Тут наш счастливый улов, видим мы, так прахом и пошел.

— Что это дети? Вы совсем страх забыли, — увещевает нас матушка. — Отец вот-вот приедет, а вы, как чушки какие-нибудь, все в грязи вывалялись.

О, человеческое жестокосердие! Стоит ли дальше рассказывать? Стоит ли рассказывать, что чудесную ловитву нашу без дальних рассуждений выбрасывают в помой? (Это еще счастье, если мы успеем утянуть из нее хотя бы по рыбине и запрятать в наши карманы). Что с искусных рыбаков снимают все, белье и платье, и заменяют свежим? Что мучительная тоска наполняет наши гонимые и страждущие души и что Домна ножом отскабливает слоем насевшую грязь с наших сапог? Что, наконец, мы сидим босые в кухне и, в ожидании вычищенных сапог, волей-неволей должны выслушивать брюзжание глупой кухарки, пользующейся нашим незавидным положением.

— Я бы этих рыбаков да хворостиной хорошей.

— А тебя... дура!

— Ну, меня-то еще было бы за что?! — возражает Домна. — Нет, мать у вас баловница... Ох, если бы да на мой карахтер! Так бы, кажется, зажала голову между ног да и добре бы насыпала! Помни!

Однако, спешу заметить, что не всегда наши рыбные ловли кончались столь печально (иногда, впрочем, они оканчивались и печальнее, именно, когда с уловленной рыбой мы попадали на отца), но случалось и так, что добытых нами из воды рыбенок Домна, хотя нехотя скоблила ножом, делая вид что чистит, потом чуточку потрошила и затем тыкала на противень, под бок к какому-нибудь гусю или к куску мяса, и сажала в печь, где наша „охота“ гнулась в какие-то крючки от жара и высыхала что твой добрый солдатский сухарь. Создатель мой! Что это за вкусное было жаркое! Нет, нынче уж не умеют готовить таких гастрономических блюд!

Купанье было одним из лучших удовольствий летнего периода и начиналось скорехонько же после схода льда, почти тотчас же за первой ловитвой рыбы. Первые ванны, как очень ранние, были немножко холодноваты, и мы выскакивали из воды синие, словно утопленники, и долго после не могли свести зубов и тряслись, как в злейшей лихорадке; но зато впоследствии купанье делалось, особенно жарким летом, чуть ли не главнейшим времяпрепровождением. Так, например, на практике было доказано, что в хороший летний день, то есть когда воздух раскален приблизительно градусов до тридцати пяти, и солнце, словно подернутое какой-то дымкой, тусклое такое стоит в вышине, — в подобный удачный день можно было бы выкупаться так разиков двадцать, двадцать пять, а то так и все тридцать. Купанье частью зависело от хорошего места, — а если таких мест набиралось десятков, то от всех десяти хороших мест, — частью от товарищества, — а если таких товариществ попадалось пятнадцать, то от всех пятнадцати товариществ, — частью от времени, — а иногда такого времени было, с небольшими, впрочем, перерывами, ровно полсутки; — и вот, совокупность-то всех этих разнообразных условий и приводила к указанному выше счастливому результату, выражавшемуся числом 30. Бывало, например, так, что спустившись на хорошее купальное место как раз против нашего дома, купальщики, выкупавшись здесь, не одеваясь, перебежали на другое место, отсюда, также для большей быстроты неся одежду под мышкой, перекочевывали на третье, с третьего тем же порядком на четвертое, с четвертого на пятое и т. д. и т. д. Так что когда наступала пора бросить купаться, то есть когда при тридцатиградусном жаре начинали коченеть члены от холода, купальщики озирали местность, в которой они находились и, к удивлению и восторгу своему, видели, что они прошли нагие так версты две, три.

— Вот так махнули! — восклицает, дрожа, кто-нибудь.

— Что же за махнули? Я намерен так еще дальше, вон туда к заводу, этак же ушел, — и счастливцев тычет пальцем по направлению к заводу, отстоящему так версты на две еще.

— А ведь это мы все нагишом.

— Так нешто из-за таких пустяков одеваться? Что мы за дураки!

— Эх, братцы, сколько хороших-то местов развелось!

— Местов — страсть. Закупаться можно!

— А вам дома-то ничего за это не бывает? — спрашивают нас товарищи.

— Нет, если папенька, так высечет, а маменька, так ничего, — равнодушно отвечаем мы.

— Ну, господа, как хотите, а без отца лучше жить, — сообщает товариществу Паша Трубкин, бойкий, черноглазый карапуз, певец и первый по околотку буян.

— Еще бы! — прежде всех соглашаемся мы.

— Мать-то когда еще соберется палку взять, а я уж, мах, да и за ворота! — поясняет Паша, почему без отца лучше. — Ну, а от отца так-то не убежишь!

— Ишь ты сравнил: этот притче...

Раз, я помню, во время купанья со мною случилась презабавная история. Нужно заметить, что нередко мы отправлялись купаться с Максимом, или лучше сказать, не с Максимом, а с лошадьми, потому что кучер ходил на реку не для собственного прохлаждения, а водил туда лошадей купать. Так как я был побольше других братьев, то кучер предложил мне искупать одну из лошадей, для чего посадил меня на нее верхом, дал в руку поводья и затем вогнал лошадь в воду; сам же Максим сел на другую лошадь и тоже направился в воду. Не помню теперь хорошенько, что было причиной, но только лошадь моя вдруг задурילה: сделала несколько прыжков, рванулась из воды и, выбравшись на берег, стрелой помчала меня к родительскому криву. Напрасно я натягивал поводья, кричал и молил о помощи, — ничто

не помогало: упорный конь фыркал лишь и неся, куда ему хотелось, да еще, как нарочно, не через заднюю калитку, а через главные, передние ворота, показывая меня удивленным гражданам в двенадцать часов дня в костюме праотца Адама. В таком виде конь представил меня прямо на родительский двор и устремился к конюшне, но, к счастью моему, умерил свой бег перед низкими дверями конюшни и тем дал мне возможность одуматься и свалиться через круп этого злодея-коня в навозную кучу, наваленную о-бок с дверями. Едва я успел опомниться и, гонимый стыдом и страхом, спрятался в ближайший сарай, как вижу, за мной следом, в таком же костюме, влетает на двор кучер Максим, бросившийся догонять и спасать меня; несколько минут спустя, тоже голые, прибегают домой братья и приносят с собою одежду, которую, к счастью, догадались захватить. Все мы сбиваемся в сарай и начинаем одеваться; у ворот же и во дворе уже теснятся целые толпы любопытных. Как кажется, истинная причина этого события для публики так и не разъяснилась, и мы долго были предметом разных кривых толков и рассуждений.

— Ну, уж братья разбойники! Отличились! — толковали соседские кумушки, обвариваясь жгучим чаем.

— И не говорите лучше...

— По берегу-то ходили, ходили нагишом, а теперь уж по улице на лошадях стали в этаким же виде закатывать. Тьфу!

— На выгонки, слышь, скакали-то: Мишка-то, говорят, об заклад с кучером бился... на парей то есть.

— Ска-жите?!..

— Да уж что и толковать: совсем отъемные головы!

— И махонькие и те туда же: хоть на своих на двоих, а в этаким же виде за ними бегут.

— От родителей все: он-то не доглядывает, а она — баловница. Ежели бы да на хороших на родителей, так взял его, озорника, да тут же, где он бежит, тут же и разложил бы, да на публике-то и тово... „Смотрите,

мол, добрые люди, чтобы на меня никакого сомнения не было“, — да и порядочно-таки прихворостинил бы и того, и другого, и третьего. А то, разве это порядки: — утром бы, примерно, они эту самую езду состряпали, а вечером, слышим-послышим; уж бурлаку-татарину на реке камнем голову проломили.

— Проломили?!

— До крови проломили. Он, слышь, шутя, там сапожки, что ли, у кого-то из них взял, — так вот за это.

— Так... уж я и то своим-то все наказываю: ежели из вас кто слово — запорю!

— Жаловался татарин-то?

— Жаловался.

— Драли?

— Драли, — холодно отвечает кумушка. — Да разве уж поможешь?

— Набалованы...

— Страсть как набалованы, страсть!

Огромное удовольствие всегда доставляло нам катанье на лодке, разумеется, главным образом потому, что у нас не было своей лодки, и доставать ее у кого-нибудь приходилось с большими хлопотами и затруднениями. Эти-то затруднения и хлопоты в значительной степени и увеличивали размеры удовольствия, потому что, как известно, то именно дорого, что трудно достается. Лодку мы или выпрашивали у кого-нибудь из знакомых, или брали напрокат, для какового проката целую зиму прикладывали грош к грошу в нашу общую казну. Но бывало и так, что, пользуясь, например, сумерками, или ранней утренней порой, мы, просто-напросто, отвязывали чью ни попало лодку и разгуливали на ней по широкому лону вод. (Лодки на Волге, вообще, стереглись довольно плохо). Надо сказать правду, что иногда такие легкомысленные уводы чужих лодок сходили нам с рук, но нередко за подобные самовольства нам порядочно-таки доставалось от хозяев лодок. Ну, да мы за тычками не гнались — сладость полученного удовольствия скоро за-

ставляла забывать всю горечь расплаты за это удовольствие. Но однажды, помню, мы дорого расплатились за нашу смелость. Было это так...

Как теперь помню, как раз во всенощную, то есть ровно в шесть часов вечера, отвязали мы чью-то лодку и, не долго думая, направились по течению. И на воде, и в воздухе было совершенно тихо, солнце блистало полным блеском, и лишь какие-то совершенно незначительные тучки ползли то там, то сям по небу. Вода быстро несла нас вниз. Болтая и напевая песенки, посвистывая и отпуская разные прибаутки, мы и не заметили, что забрались уже довольно далеко, а, главное, не заметили, что солнце спряталось в тучи, начал подувать довольно резкий ветер, и река почернела, надулась и вот-вот готова закипеть волнами. Вдруг рванул ветер и разом поставил нашу лодку поперек реки. Мы дружно ударили в весла, но было уже поздно. Еще мгновение, и налетевший шквал бросил нашу лодку, как легкую щепку, на гребень волны, затем лодку подхватила другая волна, за этой третья и т. д. и т. д., — словом, волны совершенно овладели нами и, пенясь, клочкотали вокруг, грозя опрокинуть лодку и поглотить всех нас. Река ревела и бушевала, как разъяренный зверь. Свистал ветер, с рокотом сшибались волны, целые тучи брызг носились в воздухе и обильным дождем опускались на воду. Страх охватил нас. Побросавши весла, мы сбились в кучу посредине лодки и словно закаменели. Еще и теперь помню я исполненные ужаса лица братьев, с широко раскрытыми ртами и остолбенелыми глазами. Не знаю, как у других, но у меня близость чего-то рокового, как только я сознал всю неотразимость этой близости — сейчас же зажгла в голове мысль о нашей доброй, кроткой матери: несказанно мне стало ее жаль в эту минуту! Маленькая, худенькая, слабая, с глазами полными слез, прощающая и благословляющая, встала она предо мной. Я сам готов был зарыдать — нет слез; хочу сказать что-то — скован язык; хочу поймать и по-

целовать руку матери — руки мои отказываются меня слушать. А голова все продолжает работать и подсказывает мне мои вины, совершенные против этой редкой женщины. Я делаю последнее, страшное напряжение, чтобы заговорить, заплакать, словом, каким бы ни было путем выразить свое полнейшее раскаяние, — как вдруг лодка совершает какой то невероятный скачек вверх, потом на секунду с бортами врезывается в волны и затем быстро выбегает на берег. Мы спасены!

— Что, щенята, набрались страху! — вытаскивая нас из лодки, грубо ворчат какие-то неизвестные люди, по-видимому бурлаки.

Мы опускаемся на землю и громко, истерически рыдаем в три звонких голоса.

— Лекше бы вы потопли, кажется! — хватая нас за руки, с непритворной горечью бормочет точно из земли выросший Максим и ведет домой, строго следуя приказу отца, „отыскать и доставить немедленно“.

Максим знает, почему он желает нам смерти.

Зимняя Волга была уже гораздо менее разнообразна и любопытна. Начиналась эта наша Волга так с конца октября или, вернее, с первых чисел ноября, то есть с тех пор, когда суда уйдут на зимние стоянки, и мороз примется заковывать Волгу в ледяной покров, затягивая тонкой корой воду сначала у берегов, а потом подвигаясь все дальше и дальше. Скользить на ногах по этому тонкому льду и пробивать его каблуком до воды, разумеется, было очень приятно; но ведь долго-ли наскользишь и много-ли напробываешь, когда мороз хватает за ноги и делает их словно какими-то деревянными? Конечно, немного. Потому настоящая-то наша Волга начиналась даже еще позже, именно — с настоящей зимой, когда выпадает вдоволь снегу, и лед на реке станет такой, по которому уже свободно пойдет переправа с одного берега на другой, и, что всего важнее, когда

нам выдадут шерстяные чулки, со строгим наказом—отнюдь не промачивать сапог, — вот тогда начиналось настоящее дело; вот тогда приходила настоящая наша зимняя Волга! Если вы, читатель мой, не катывались на салазках с горы сажен в пятьдесят вышиною, по наклонной плоскости длиною в полверсты или даже больше, если ваше сердце не замирало от какого-то сладостного томления, когда вы с быстротой хорошей скаковой лошади неслись по этому наклону, если ужас не охватывал вашу душу, когда раскатившиеся санки стрелкой перескакивали через злоеющие полыньи и проруби, и если вы не выскакивали, как резиновый мяч, из этих самых санок, с разбегу ударившихся о какую-нибудь преграду, — вы едва-ли поймете всю прелесть заправской детской зимы! Что за дело, что можно отморозить уши или нос, — уши не отвалятся, тоже будет и с носом! Но вы сумеете-ка пролететь от вершины горы до ее подошвы, не забывая, что гора эта служит подъемом с Волги и что по ней беспрестанно тянутся десятки подвод и сотни разного народа, сумеете направить между всеми этими препятствиями, или, по крайней мере, попасть под лошадь и вывернуться из беды, сбить кого-нибудь с ног и удрать во-время, — вот в чем настоящая-то прелесть, вот где истинная задача каждого маленького рыцаря! Не скажу, чтобы особенно блестяще, но, надеюсь, достаточно добросовестно исполняли мы эту нелегкую задачу, подтверждением чего могли бы служить наши постоянно лупившиеся от озноба уши и носы, да целый ворох всевозможных жалоб, поступавших на нас от разных врагов наших.

V

— Ну, дети, мы отправляемся с папашей в гости, так вы уж, смотрите, ведите себя хорошенько.

— Слушаем, маменька.

— Мальчики, не смейте обижать девочек, и вы, девочки, тоже...

— Нет, не будем, маменька.

— Да няни слушайтесь.

— Хорошо-с, маменька.

— Савельевна! — обращается маменька к няньке, — ты уже присмотри за ними. — Если покушать захотят, так вели Домне подать — она там знает что. А если спать кому...

— Нет! Нет! Нет! — восклицаем мы хором. — Мы ни за что спать не ляжем: мы будем вас дожидаться.

— Да ведь мы в двенадцать часов вернемся. Глупенькие!..

— Нет! Нет! Нет! — повторяет хор, — мы будем дожидаться.

— Ну, хорошо; только не шалить!

— Не будем, не будем.

— Ну, прощайте!

Матушка перецеловывает всех нас и идет к двери.

— Да Домну позовите из кухни — пусть она с вами играет! — оборачивается на пороге матушка и затем уходит.

Такими наставлениями обыкновенно сопровождалось отбытие родителей из дома, причем наставления делались в возможно строгом тоне, а принимались с покорностью и лицемерными уверениями в намерении им следовать. Но лишь только грохот отъезжающего экипажа возвещал, что родители за воротами, маленькая республика вступала в свои права. Прежде всего открывался поход на Домну.

— Что же, господа? Домне велели играть с нами, а она на кухне сидит.

— Идемте, господа, за ней.

— За Домной! За Домной! — раздаются голоса.

— Мы, мы, вперед мы! — бросаются к дверям сестры.

— Нет, мы!

— Не пускать, не пускать мальчиков: они здесь гости.

— Как, гости?!

— Так и гости — мы хозяйки!

— Валяй этих хозяек, ребята! — командуем мы и бросаемся в схватку.

Схватка начинается жаркая; крики сражающихся мешаются с криками раненых и увещаниями няньки и наполняют комнату. Дверь переходит из рук в руки, и первенство над ней долго колеблется между сторонами, до тех пор, пока Домна не догадается вылезть из своей кухни и не появится на поле битвы.

— О, ну вас к лешаку! Ишь, разодрались, петушьё! — бросается между сражающимися кухарка и разводит бойцов.

— Что взяли! Что взяли! — дразнят нас сестры.

— А все-таки не пустили первых.

— И мы вас не пустили.

— А мы вас зато за волосы отодрали.

— А мы вас за уши. Что?..

— Вы космы-то подберите, — ворчит на сестер Домна. — Гляди-ка, как раскошлатились, бесстыдницы, ровно русалки какие! А еще барышни прозываетесь!

— Домнушка, давай с нами играть, — приглашают сестры кухарку.

— Нет, Домаша, с нами, с нами!

— Нет, с нами. Мы тебе сейчас кукол принесем, а ты будешь как-будто барыня и придешь к этим куклам в гости, а они угощать тебя будут. Хорошо. Домнушка!

— Ну, ладно, ладно!

Сестры бегут за куклами, а мы тем временем усаживаем Домну около себя, держим крепко за руки и начинаем какой-нибудь разговор, так больше, для видимости, чтобы только показать, что она занята с нами.

— Ну, что же это такое? — с огорчением бормочут возвратившиеся сестры, — мы Домну было себе взяли, а тут мальчишки проклятые отбили.

— Что? Что?! — радуемся мы, мальчишки.

Стороны обмениваются плевками, и сестры, делать нечего, присаживаются к няньке.

— Няня, хочешь в гости к куклам приходите?

Няня, у которой под старость, словно в награду за ее долгую жизнь, осталось только два недуга: глухота и слепота, не слышит и молчит.

— В гости, в гости приходить! — кричат ей на ухо сестры.

— Какие, барышни, теперь гости: теперь добрые люди спать ложатся.

— Ах, какая она противная, это глухая тетеря! — сердятся девочки. — Вот к куклам, к куклам! — тыкая пальцем в кукол, еще громче кричат они.

— И куклы, матушки, пойдут спать, — заговоривши о сне, все на ту же тему бормочет Савельевна. — Братцы лягут, вы ляжете, мы с Домной ляжемся, — все бай-бай будем! — протяжно себе под нос, изъясняет старушка и, увлекшись, даже уже заранее зажимуривает глаза и уныло запеваёт:

Баю-баю, солдатский сын,
Войной повитая головушка,
С острой сабли вскормленная,
Из пригоршней вспоенная,
Жгучой лозой взбодренная! и т. д.

Но едва только наша нянька начинает распеваться и подробно излагать горькую долю солдатского сына, то-есть кантониста, едва она доходит до того места песни, где рассказывается, как „жгучой лозой взбодренный“ солдатский сын „ронит из глаз слезиночку“ — как сестры зажимают певунье рот, и песня прекращается.

— Ну, что это заныла с которых пор! — с досадой обрушиваются на старуху девочки.

Старуха покоряется и умолкает. Сестры видят, что с этим олицетворением глухоты и слепоты ровно ничего не поделаешь и обращаются к нам, на этот раз уже вполне дружелюбно.

— Мальчишки, отдайте нам Домну, — упрашивают нас сестры: — ведь она вам ни на что не нужна, а с нами бы она играла в куклы.

— Как же, так и отдали...

Мы еще крепче вцепляемся в кухарку.

— Да ведь вон она так же молчит, не играет с вами.

— Теперь она отдыхает, — толкуем мы о Домне, точно о какой-нибудь корове или лошади, — а зато перед этим рассказывала нам про колдуна.

— Это, как бабе колдун собачью морду вместо лица наколдовал?

— Да-а...

— О, это мы давно знаем!

— А потом еще расскажет что-нибудь. Нет, она нам самим нужна.

— Ну, слушайте, мальчики! — решительно обращаются к нам сестры. — Если не хотите так отдать, так продайте нам ее.

— Нет не продадим.

— А мы бы вам орехов за это дали. И орехов бы дали, и вот еще няньку в придачу: она песни хорошо поет, сказки отлично сказывает, — обольщают нас сестры.

Но мы ни на какие обольщения не поддаемся и упорно удерживаем Домну за собой до тех пор, пока баба не уразумевает сама, что ею распоряжаются точно вещью какой-нибудь.

— Что это я вам, крепостная что ли какая далась? — вламывается она в амбицию.

— Ну, Домнушка!..

— Ишь, волю-то взяли! На-ка, какие торговцы объявились!

Домна с сердцем вырывается от нас и садится прямо на пол, вдали от покупателей и от продавцов. Минуту она сидит молча, отвернувшись от нас, потом откашливается, подпирает ладонью щеку и тонко, пронзительно затягивает:

Что за мальчик, разудальчик,

Что за душенька, шельма, хорош:

Вложил мысли в мое сердце —

Не могу во век забыть!

Мы начинаем приставать к ее песне, затягивая кто в лес, кто по дрова; голоса наши будят прикурнувшую было няньку, и она некоторое время вслушивается, а затем и сама присоединяется к певцам, и скоро комната наполняется самыми разнообразными звуками: то сливающимися в общий рев, то словно разбегающимися в разные стороны, как испуганные зайцы, почувавшие близость своих врагов, собак. По окончании пения, то есть после того, как все мы накричимся до сипоты, а Домна объявит, что она „инда взопрела, горло драмши“, следует игрище, известное под именем „жированья“ и состоящее ни больше, ни меньше, как в том, что мы набрасываемся на Домну, вытягиваем ее на полу во весь рост и потом начинаем перекатывать из одного конца комнаты в другой. Гвалт при этом идет ужаснейший, потому что Домна—баба ражая и чтобы своротить ее с места нужно порядочно-таки повозиться с нею. Сначала Домна принимает это „жированье“ шутя, потом просит нас отвязаться от нее, наконец, видя, что ни шутки, ни просьбы не помогают, озлобляется и принимается нас тузить со всем азартом рассвирелевшей глупой бабы. Хотя наши бока и спины достаточно-таки страдают от тяжеловесных кулаков кухарки, но мы не скоро уступаем, и, начавшееся игрой, „жированье“ оканчивается уже вовсе не шуточно. Картина этого конца, сколько можно припомнить, бывала такая: в одном углу комнаты, растрепанная и растерзанная, стоит Домна и горько рыдает, в другом,—сбившись в кучу и перемешавшись мальчики с девочками, толпимся все мы; на полу наляются опрокинутые стулья, разбитая посуда и клочки разных рукавов, воротников, платков и прочего; нянька, как потерянная, торопливо топчется среди погрома и со страхом приговаривает: „Ай, батюшки вы мои! Ай, батюшки, беда какая стряслась!“

— Да я этакой жизни отродясь не привидывала!—горючими слезами обливается Домна в углу.—Кажется, и аду, вот которых грешников нечистые горячими кочер-

гами жарят, так и то там легче, чем с этими идолами, прости господи!

Мы поджали хвосты и молчим.

— У других, у прочих, — продолжает причитывать кухарка, — ежели мальчишки озорничье, так хоть девки поумнее, да помирнее, а у нас и мальчишки, и девки — один чорт на дьяволе!

Домна принимается осматривать свой костюм.

— Фартук вон совсем новенький, всего только одна дырочка и была, намереди об уголь прожгла, ситец-то по восемнадцати копеек за аршин брат, — а теперь куда его — бросить! А бу-усы, — снова рекой заливается кухарка, — они мне от тятеньки, может, вместо благословения дадены, тут, может, одних наказов сколько было, — а теперь где он-не-е?

И Домна начинает лазать по полу и собирать зерна бус.

— Ну уж, — приподнимаясь, ударяет она кулаком по столу, — если я да не разжалоблюсь отцу, — вот расстрели меня пострел! Дай мне вот, господи, с места не сойти, если да не разжалоблюсь, — решительно произносит Домна и быстро, точно ураган, вылетает из комнаты, крепко хлопнув дверью.

„Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!“ — крестясь, шепчет нянька.

На нас нападает уныние.

— А ведь она пожалуется? — решается, наконец, предложить вопрос кто-то из сестер.

— Вы спать ложитесь, что тут толковать.

— Ну, а вы как, мальчишки?

— А мы дождемся, когда наши приедут, поскорее простимся с ними, да и мах к себе!

— А если спросят: как себя вели?

— Так что же, мы скажем, что хорошо. Разве не сумеем сказать?

— Ну, а если она после нас пожалуется?

— Так разве ночью искать будут?

— Вот и отлично! — радостно заключает старшая сестра. — Стало быть, если даже она и пожалуется без вас, так мы все на вас свалим, скажем, что это мальчишки.

— Да, ишь ты какая ловкая! Это, чтобы он к нам пришел...

— Так как же?

— Просто притворитесь, что вы спите, — вот и конец.

На этом все рассуждения и поворачиваются: сестры ложатся спать, а мы сидим точно на иголках и ждем возвращения родителей. Тишина стоит в комнате такая, что, кажется, слышно, как муха пролетит. Кто бы мог подумать, что в этой именно комнате сидят и бодрствуют три страшных и известных всему околотку брата-разбойника? Да, в эти минуты я бы никому не пожелал быть на нашем месте!

Однако, по большей части, все страхи оказывались напрасными, потому что родители возвращались из гостей усталыми и тотчас же отсылали нас, мальчиков, к себе, спать, даже и не спрашивая о том, хорошо или дурно вели мы себя. Даже бывало и так, что пока родители раздевались в прихожей и мы не только что не успели доложить о своем хорошем поведении, но даже не видели еще их, как Домна, принимая верхнее платье, слышим, уже жалуется:

— А они у меня, барин, бусы разорвали...

А отец, слышим, ей на это:

— Ну, ну, матушка, завтра с твоими бусами: на это день есть, а теперь пора спать. Завтра всех разберу, — прибавляет он и входит в комнату. — Марш по местам! — командует отец нам.

Мы, как пули, просвистываем мимо.

А на следующий день, смотришь, Домна успокоилась, и отец — тот и совсем позабыл, — так что вот как широко вздохнешь... кажется, чуть не до разрыва легких! Большая бывает радость тогда!

Как-то раз, в жаркий летний полдень, только что окончивши докучное ученье, лежали мы на тощей траве в нашем маленьком саду, под незавидной тенью старого вяза, и беззаботно смотрели на небо, подумывая разве о том, что недурно было бы теперь сбегать выкупаться,—как услышали голос матери, звавшей нас с крыльца флигеля. Вскочивши, мы тут в минуту поспешили на зов. Матушка стояла на крыльце и кормила кур.

— Где вы запропалились? — спросила она нас.

— А мы в саду лежали.

— У вас есть какое-нибудь дело?

— Н-нет... мы купаться было хотели попроситься, — нерешительно проговорили мы.

— Ну, вот все купаться, да купаться—не купались еще. Вы вот лучше пошли бы, да яиц мне поискали, а то, вон, куры совсем яйца нести перестали, все без яиц приходят.

— Какие куры?

— Как, какие? Все почти. Вон сегодня шпанки пришли без яиц, а вчера сама щупала — сегодня должны были снести; пестрохвостая вот уж третий день, как ничего не носит; хохлатка тоже, безножка, — да, все, все...

— А где же искать-то?

— Как, где искать? Везде ищите. Под каретником поищите, под конюшнями, за погребам, за домом, в сарае, на бане, — везде, везде надо поискать.

Мы, разумеется, тотчас же отправились на поиски.

Сначала мы спустились под каретник через дыру, прорытую в это подземелье собаками, которые залезали туда зимой в большую стужу. Долго и совершенно напрасно ползали мы на четвереньках в какой-то крошечной тьме. попеременно стучаясь то лбом, то затылком о здоровенные балки, на которых был утвержден пол каретника и, попадая руками, щупавшими дорогу в тем-

поте, на разные грибы, поросли и какую-то слизь, облепившие стены и потолок подземелья; но при всем усердии поиски наши оказались бесполезными. Тогда, вылезши из подземелья, мы устремились дальше и с меньшей добросовестностью обшарили такую же яму под конюшней, спустились в промежуток между погребками и забором — тут все осмотрели несколько раз и с полнейшим вниманием обошли вокруг дома и, не найдя нигде ничего, направились в сарай. В сарае этом лежали дрова и был навален всякий хлам, вроде старых колес дровен, поломанных дуг и оглобель, битых боченков и кадушек и прочее и прочее. И боченки, и кадушки, и оглобли, и дрова, и дуги — все было по несколько раз потревожено нами с места, но все-таки яиц мы нигде не нашли. Тогда мы поднялись на баню, стоявшую бок-о-бок с сараем и отделенную от соседнего двора высоким забором так, что между зданием бани и забором оставался промежуток в каких-нибудь пол-аршина ширины. Влезши на баню, общество искателей потерянных курами яиц старательно осмотрело все углы и закоулки и уже готовилось, после бесполезных поисков, спуститься вниз, — как вдруг, кто-то заметил узкую щель между баней и забором.

— Господа, это что! Посмотрите-ка...

Господа посмотрели и тотчас же решили, что тут-то должно быть куры и свили себе гнездо, тут-то они и складывают яйца. Теперь оставалось только еще решить, каким образом можно попасть в эту щель. Пробовали мы сначала спуститься тогда прямо с бани, но проба эта скоро оказалась не достигающею цели. Проба окончилась лишь разрывом панталон на самом колене да порядочной ссадиной на руке, причем пробовавший не спустился даже и на половину. Тогда решено было обойти баню кругом и попробовать лезть с того места, где начинал отгораживать баню от соседского двора забор. Так и сделали: я полез вперед, за мной младший брат, как более смелый, а средний потянулся последним.

Проползти нужно было так, примерно, сажен десяток. Хотя темноты тут особенной не было, но подвигаться вперед все-таки нужно было с большой осторожностью, потому что из забора торчали концы гвоздей, да и самая стена бани была не слишком то гладкая.

— Вы, ребята, осторожнее, — предупреждал я братьев.

— А что?

— А то, что я сейчас было чуть-чуть не хватился лбом о какой-то деревянный кол, который вон, налево, торчит в стене.

Но едва я успел проговорить эту предупреждающую фразу, как почувствовал в спине необыкновенно жгучую боль, точно с меня кто нибудь кожу начал сдирать.

— Ай! ай! — невольно крикнул я и остановился.

— Ты что? — спросил меня маленький брат.

Я изогнулся, как только было можно, и подставил брату спину.

— Смотри скорее, что там у меня на спине?

Брат приставил лицо к моей правой лопатке, — по его горячему дыханию я это почувствовал, — и начал рассматривать.

— Ну?

— Да ты себе рубашку, гляди-ка, как располосовал! — сообщил Семен. — Э-э э! — вдруг воскликнул он. — Да у тебя кровь...

— Где?

— А тут же на спине.

— И много?

— Да, порядочно-таки: так шкура и заворотилась!

— Ну, помажь слюнями.

Семен исполнил.

— А теперь?

— Теперь ничего; я все слюнями замазал.

Я двинулся вперед, и братья потянулись за мною. Как и следовало ожидать, никакого куриного гнезда и никаких яиц мы тут не нашли, а только в конце щели приползли к какому-то отверстию, вырытому под забором

словно бы собаками и выводившему на какой-то совершенно неизвестный нам двор. Мы поочередно просовывали головы в эту вновь открытую дыру, но никто из нас не мог определить, на чей именно двор выходит она. Тогда мы решились расширить отверстие на столько, чтобы в него можно было пролезть и освидетельствовать точнее неизвестную нам местность. Сказано — сделано. Трое усердных работников в одну минуту исполнили задуманное и разом очутились на соседнем дворе. Точно испанцы, открывшие Америку, пораженные и изумленные, стояли мы у своей дыры, ведущей в столь известную нам Европу, то есть за баню, и решительно не могли придумать, куда мы попали. Кажется, совершенно такими же чувствами были одержимы и петух, некоторое время смотревший на нас каким-то вопросительным знаком и затем поспешно скрывшийся неизвестно куда, и серая небольшая собаченка, обозревавшая нас и тотчас же стремительно бросившаяся за ворота и уже оттуда выставившая голову, чтобы обстоятельнее наглядеться на отважных пришельцев.

Дворик был небольшой и был кругом застроен разными хлевушками, клетушками, сарайчиками и прочими так называемыми холостыми пристройками, примыкавшими к небольшому же жилому флигельку. У окон флигелька, выходящих во двор, росло несколько довольно густых кустов акаций, так что зелень их закрывала нас от жильцов флигелька. Мы двинулись вперед и порешили, первым делом, освидетельствовать все эти холостые пристройки. Заглянули в одну — дрова лежат, заглянули в другую — коровник, попробовали отворить дверь еще в какую-то пристройку — дверь оказалась запертою. Хозяиничанье наше, как оказалось, не совсем понравилось серой собаченке, наблюдавшей за нами из-под ворот, и она лениво тявкнула; мы погрозили ей — собаченка еще тявкнула раза два. Собачий лай, как надо думать, долетел куда следует и в полуотворившуюся входную дверь высунулась из флигелька чья-то голова, косматая,

косматая такая, что за волосами, беспорядочно спускавшимися на лицо, совершенно нельзя было разобрать, кто это, мужчина или женщина, взрослый человек или малолеток. Голова, хотя и сквозь густую сетку волос, но все-таки должно быть с любопытством рассматривала нас — так, по крайней мере, нужно было судить по тому неподвижному положению, в котором она пробыла несколько секунд; мы тоже пристально созерцали голову, но на всякий случай попятились поближе к дыре, чтобы легче было обратиться в бегство, если в том случится надобность.

— Я вас! — вдруг погрозила нам голова кулаком.

Мы хотя и попятились еще несколько, тем не менее не струсили и тоже показали кулаки.

Тогда голова заблагорассудила для большого устрашения нас вытащить за собою и туловище, и мы увидели на крыльце флигеля девочку, или, вернее сказать, отроковицу лет четырнадцати, пятнадцати, одетую совершенно по сезону, то есть в одной сорочке, едва прикрывавшей колени. Голова, превратившаяся теперь в недоодевшую отроковицу, сделала нетерпеливое движение вперед, показывавшее, что она намерена напасть на нас.

— Голодрыга! — разом крикнули мы и отступили еще немного.

Отроковица сбежала с крыльца и нагнулась, думая, вероятно, поднять что-нибудь и бросить в нас. Но мы предупредили такой коварный замысел: схвативши несколько комьев крепко спекшейся земли, мы разом осыпали ими неприятеля, который тотчас же и обратился в бегство, испустив при этом пронзительный визг. Как люди понатарелые в боях, мы, однакож, не обратили никакого внимания на такой неприятельский визг, а поднявши еще по комку, повторили залп и тогда уже юркнули в дыру, во свояси.

— Динь-динь-динь! — звенели разбитые стекла в то время, как мы поспешно пробирались вдоль щели.

Выбравшись на божий свет, мы тотчас же поднялись на баню и из-под крыши стали наблюдать за суматохой, произведенной нами на соседском дворике.

Прежде других на дворике появилась уже знакомая нам „голодрыга“ и следом же за ней—какая-то маленькая, запачканная старушонка с ухватом в руках, должно быть, кухарка; за этой парой выскочила толстая, толстая пожилая женщина, тоже в костюме отроковицы, а за нею — молодой мужчина, тоже в дезабилье.

— Где же они? — спросила толстая, бросая глазами по двору.

— Убежали, маменька, должно быть, — отвечала отроковица, заглядывая всюду.

— Да они ли?

— Они, они—разбойники с большого двора, что на ту улицу. Сама видела!

— Они — вот и нора ихняя, — подтвердила запачканная старушонка.

Все подошли к норе и начали рассматривать.

— Нет, это изумительно! — скрестивши руки на груди и в раздумьи поникнув головой, проговорил мужчина. — Как хотите, маменька, а вы должны, вы непременно должны итти жаловаться! — прибавил он, небрежно ковыряя босою ногою землю.

— Да жарко!—лениво промычала толстая.

— Нет, нет, идите и жалуйтесь! Одевайтесь и идите, идите и жалуйтесь! — трагически изрек мужчина и, повернувшись на голой пятке, направился к крыльцу; за ним последовали и все остальные.

При слове „жаловаться“ у нас, признаться, екнули-таки сердца, и только неохота, с которой толстая женщина шла жаловаться, да отсутствие отца еще несколько и утешали нас. В ожидании прихода жалобщицы и принесения ею самой жалобы, мы положили залечь в бане, а Семена, как самого маленького и потому менее заметного, отрядить соглядатаем, который, спрятавшись где-нибудь за дверью, за шкапом или в ином тайном месте,

выслушал бы все и затем известил нас для дальнейших распоряжений. Так и сделали. Но оказалось, что тревога была совершенно напрасная, так как Семен возвратился чуть не через несколько минут и доложил, что жалобщицу зовут Лизаветой Фортунатовной и что она „даже и жаловаться не умеет“, потому что отозвала маменьку куда-то в сторону да и пошептала ей что-то, а маменька ей на это сказала „хорошо“, — вот и все.

При таком счастливом известии мы подпрыгиваем горшком.

— Сеня, ты видел ее? — спрашиваем мы соглядатая.

— Ви-идел... Она смешная такая — мне пальцем погрозила...

— А ты что?

— А я язык показал.

— А она?

— А она... она сказала, что вы дураки! — чтобы отвязаться от докучных вопросов, отрезывает маленький братишка и сбегает с бани, а следом за ним и мы.

Когда мы пришли во флигель, мы увидели жалобщицу и матушку уже сидящими за чаем и разговаривающими самым дружелюбным образом.

— А много у вас деточек? — спрашивает матушка.

— И-и!.. махнула рукой вместо ответа гостя. — Сама, голубушка, не знаю, когда я их столько напорол: — ведь, пять человек!

— И большенькие все?

— Какое большенькие, — самой маленькой кобыле вот пятнадцатый год идет... Кормить не придумаю чем: всю съели они меня! Мясо, как увидят, так, как волки, все без хлеба норовят сожрать.

— И мужчинки есть?

— Два стоялых-то... а три — девки.

— Служат мужчинки-то?

— Один служит, а другой учится в гимназии, да все отучиться не может, — вот уж четырнадцать лет туда ходит, а все нет конца.

— Что же там?

— Да бог его знает... Имеет он, видите-ли, большую приверженность к театру, так вот из-за этого, должно быть. Один раз в какой-то игре там, уж я вам сказать не могу, херувимом в лодке летал, так прознали да за это на целый год в классе и оставили; а то историю не выучил, а все по трагическому ролю какую-то рассказывал — за это тоже; да еще, да еще, — так вот оно, год к году, а теперь и набралось их... чорту в шапку не упрячешь.

Соседка погостила-таки у матери довольно долго, рассказала о своем горьком вдовстве, научила, как делать хороший квас и, вообще, оказалась женщиной очень доброй и хорошей собеседницей; нам же она особенно понравилась за то, что не была ябедницей.

— Так помните же: по-забаней, — уходя и прося ма-тушку навестить ее, сообщала свой адрес соседка. — Только и помните: по-забаней, — переваливаясь, как жирная утка, кричала соседка, дойдя до середины двора. — По-забаней, — помните! — крикнула она, наконец, от ворот и скрылась, еще раз крикнув уже с пути: по-забаней!

Баня эта нам всегда казалась каким-то страшилищем, потому что, по частым рассказам Максима, самая чертовщина-то в ней именно и жила.

— Ведьмы, окаяшки, проклятые, домовые — это все в бане живет! — с положительностью заявлял кучер всегда, когда разговор касался бани.

— А что это такое „проклятые“?

— А от которых отец с матерью отказались.

— Они с хвостами?

— Так с махонькими.

— Ты их видел?

— Голова с мозгом! Разве его можно видеть, когда он тебя разорвет.

— Что же они все в бане делают?

— Играют.

— Ну, Максимушка, а чорт ест чтонибудь?

— Известно, ест: нешто без еды проживешь...

— Что же он ест?

— Грешнищие души.

— А ведьмы?

— А ведьмы.. вот которая девка набалуует ребенка, да девать его ей некуда, она и удавит, — так ведьма сейчас ухватит, да и сожрет его.

Словом, разговор о чертовщине — один из любимейших разговоров Максима, и когда он, бывало, насядет на этот разговор, то тут его только слушай: мужик наш, что называется, развирается до зеленой лошади.

Мне баня особенно памятна потому, что в ней рожала наша мать; следовательно, появление на свет каждого нового карапуза, умеющего впоследствии дивить и страшить околотов своими подвигами, непременно связывалось с баней. Обыкновенно матушку отводили туда заблаговременно, а нас всех, и мальчиков и девочек, сбивали в одну какую-нибудь комнату и оставляли здесь под надзором няньки, все той же глухой и слепой Савельевны. Когда наступал самый момент родов, отец выводил нас из заточенья в залу и здесь всех ставил на колени перед образом и приказывал просить бога, чтобы он поскорее послал нам братца или сестрицу. Установивши нас и научивши, о чем просить, родитель удалялся к роженице, а мы, соскучившись стоять на коленях, заводили какую-нибудь игру, причем один сторожил, чтобы отец не нагрянул как-нибудь внезапно.

— Идет, идет! — кричит сторожевой и первый бухается на колени.

Остальные, разумеется, делают то же.

— Ну что, молились?

— Молились, папенька.

— Хорошо молились?

— Хорошо, папенька.

— Ну, вот вам бог за это послал братца (или: „сестрицу“, если бог послал сестрицу). Вставайте!

Мы встаем и поздравляем отца.

— А с кем, папенька, бог прислал, — решается спросить кто-нибудь.

— Ну, вот, когда вырастишь, тогда узнаешь, а теперь поди-ка займись чем-нибудь, а глупые вопросы выбрось из головы.

Раз такое появление на свет нового карапуза едва не ввело нас, мальчиков, в большую беду, а именно...

День родов, как нарочно, совпал со днем кулачного боя; мы-же, мальчики, постоянно посещали эти бои и считались на них одними из лучших задира л (прежде чем взрослые начинали ломать друг другу бока и сворачивать скулы, обыкновенно с той и другой стороны выпускались малолетки, которые заводили бой, зачинали, задирали). Разумеется, как же отказаться от такого удовольствия? И вот, недолго думая, мы собрались и махнули! Дело было зимой, так часов после двух. Все шло, повидимому, наилучшим образом: уже у меня красовался под глазом отличнейший фонарь, и в схватку мы ходили раз пять, — как вдруг налетевший нивесть откуда Максим разом выхватил нас из самого пыла битвы.

— Вы, кажется, о двух головах, как посмотрю я на вас! — бурчит Максим, таща нас домой.

— А что? — испуганно спрашиваем мы.

— Как что? Разве не знаете: маменька рожает, тятенька воюет, женский пол давно уже на коленках перед образом стоит, а они спрашивают: что?

По счастью, мы пришли домой в то время, когда отец отправился в баню, к роженице, почему мы без дальнейших рассуждений, сейчас же стали в ряд с сестрами на колени, и, возвратившийся с известием о благополучном разрешении от бремени, отец уже застал нас молящимися, стало быть, исполнившими свое дело. Сердце родителево, при виде такой картины, невольно смягчилось...

Меня отдали в гимназию, и гимназия эта чуть не сразу разрушила наш, годами созданный, триумвират. Шесть часов ежедневных занятий, новые обычаи и стычки, новые

товарищества, — все эти причины, в совокупности и порознь, сделали то, что имя главных и старших братьев разбойников сначала как будто потускнело, а потом и совершенно потеряло всякую цену в глазах околотка, для которого еще так недавно мы были настоящей грозой. Правда, иногда вырывались кое-какие отдельные случаи, вроде разбития стекол, угона лодки, избиения и прочего, но на них так уж и смотрели, как на явления единичные.

— Нет, вы бы прежде посмотрели, что тут было, — вспоминали бывшее вздохнувшие на свободе обыватели, — так диву надо было даваться.

— Ужли-ж хуже теперешнего?

— О-о! Что вы! Никакого сравнения с тепершним-то нет. Тут ежели прошел мимо ихнего двора, да в ухо тебе не попало, так благодари всевышнего! Встретил ты их да не обнесли они тебя всякими черными словами, так свечку ставь! Вот как тут было!...

— Нет, теперь слава богу!

— Теперь, благодарить создателя, совсем полегшало.

А через год, прибавим мы от себя, так и совсем близким к нам обывателям стало легко, потому что и второго брата определили в гимназию, так что пугалом околотка остался только один младший братишка, Семен, — ну, да один в поле — не воин!

НАСЛЕДСТВЕННАЯ БЕДНОСТЬ

Рассказ

Тяжела и утомительна вообще жизнь мещанина-поденщика. Но если он обременен большим семейством, то жизнь его—не жизнь, а жестокое наказание, каждодневная пытка. Нет у него ни ясных, спокойных дней, ни веселья, ни радости—все лишь одни заботы, огорчения, тяжкие обиды выпадают ему на долю; нет у него даже порядочного праздника, а тянутся перед его глазами одни будни, да будни. Грустная жизнь!..

Посмотрите, как живет и что делает семейный мещанин-поденщик.

Степан Иванов Окошкин записан по сказкам восьмой ревизии в следующем порядке:

В мужской графе.
Степан Иванов сын Окош-
кин 41 года.

Его сыновья:
Петр 8 лет
Игнатий 5 —
Савелий 3 —
Наум 1 —

Итого 5

В женской графе.
Его жена: Дарья Филиппова
39 лет
Дочери:
Федосья 10 лет
Авдотья 4 —

Итого 3

Следовательно, Степан Иванов записан по сказкам восьмой ревизии, и следовательно, он живет, то есть существует на белом свете. А жить на свете—надо есть и пить; но чтобы иметь полное право есть и пить—надо работать и трудиться. Окошкин так и делал, так и жил...

Да, Степан Иванов трудится с раннего утра до позднего вечера, не жалеет ни спины, ни рук, ни ног, трудится до кровавого поту, чтобы вымучить из собственных сил кусок насущного хлеба. Он работает, напрягает все силы, все умение, все способности и, слава богу, сыт один день, сыта жена, сыты и дети. Он — бедняк, чернорабочий, без укора, без попреков, как это ведется между зажиточных мещан, разделяет добытое с домашними — с любимой женой и милыми детьми. Черств и невкусен этот кусок, купленный за страшную боль спины и за ничтожные деньги, но вечером после работы, в кругу дорогого семейства, и черный хлеб и пустые щи кажутся сладкими потому, что их едят — с довольною улыбкою жена, с ясными и светлыми глазами малютки-дети, и потому, что этот хлеб заработан трудом честным и безукоризненным. Трудится мещанин Степан Иванов, а в семействе его не спорится: все он беден, да беден.

Утро. На небе чуть-чуть брезжится; до рассвету осталось каких-нибудь полчаса. На улицах глухо и пустынно: все спят, кто может и имеет досуг спать. А наш поденщик Окошкин проснулся, встал со своего жесткого ложа, умылся и стал молиться богу. Коротка и молитва бедного человека; шепчет он, чуть шевеля губами:

— Господи, услышь меня грешного: сохрани мою жену и детей. Господи, боже мой, пошли мне доброго человека, ласкового хозяина, чтоб мои родненькие не насиделись с голоду.

Потом Степан снимает со стены мешочек, кладет туда часть хлеба, который должен служить ему пищей на весь день, потому что поденщики обедать домой не ходят. Наконец, тихо отворяя дверь, ведущую из избы в сени, он останавливается на минуту у порога. Не стой тут, бедный человек, не смотри на спящих детей и жену, не вздыхай напрасно — ступай себе на работу: вечером ты ведь опять воротишься домой. Может быть, ты внутренно сетуешь, что мало проводишь с домашними вре-

мени, что у тебя, кроме светлого христового воскресенья и рождества, решительно нет ни одного праздника? Утешься, Степан, — твоя такая доля: иди, работай, если хочешь, чтоб дети на тебя не плакались; ленись, если желаешь видеть жену в отчаянии, а детей голодными.

Вскоре после ухода Степана, просыпается жена его Дарья. Помоляся богу, она затопляет печь; а тут проснулись и дети. Мать хлопочет у печи: сырой хворост, набранный ребятишками, дымится и нехотя дает пламя. В печи стоят два горшка: в одном варятся щи без говядины, в другом — каша. Неумытые, чумазные ребятишки, хныча карабкаются по лавкам и ползают по полу. У каждого из них в руках завтрак, можно сказать, подвижной завтрак, ломоть хлеба, который потребляется во время быстрых эволюций по избе.

В избе черно и грязно. Хозяин и хозяйка хотели бы, даже очень, быть опрятными; но опрятности тут существовать не может, потому, что гнилые полы и стены мыть невозможно, да и самая изба так ветха, что если посильнее потереть какую-нибудь стену, то она должна обрушиться на головы некстати чистоплотных обитателей.

Некрасива жизнь подобного семейства. Надобно удивляться, если в таком семействе мало бывает больных. Правда, лица этих людей желты и осунулись, но это больше от дурной пищи. Сам бог, видимо, хранит несчастных.

Полдень. Мать убралась; щи и каша спели. Дети уже несколько раз напоминали матери:

— Мама! Мама! Мы есть хотим.

— Погодите, ребятишки, маленько, — отвечает мать голосом, который мог постороннего человека задеть за живое, — погодите, деточки, еще ведь рано. Поиграйте, подите. Вот Федосья придет с Волги...

— Я здесь, мама, — отзывается девочка, которая и не думала ходить на Волгу.

— Ну, ладно, ладно! Я вот сейчас соберу на стол, а вы поколь поиграйте, подите на улице.

Бедная женщина хотела выиграть время, чтоб сократить аппетит детей своих, она хотела соблюсти экономию в куске хлеба. Но каково было ей выигрывать время у детей своих, которых она любила любовью истинной матери? Кажется, об этом говорить не нужно.

— Мама! Мама! Мы есть хотим...

Мать дольше не может выдерживать. Проворною рукою она режет хлеб, раздает по рукам и наливает щей. Все, которые могут есть сами, садятся за неуклюжий сосновый стол, работы самого хозяина. Тут, как и всегда, происходит шум и крики: маленький брат отнимает у сестры ложку; сестра отнимает у брата кусочек хлеба и т. п. Наконец семейство пообедало, и дети сытые начали играть. Мать, между тем, принялась за свою обычную работу: она сучит пряжу, или вяжет чулки, или к старым рубашам пришивает две-три новых заплаты. Если нет шерсти и ниток, бедняжка против воли должна сидеть, поджав руки: хочется делать, да делать нечего — не на что купить материалу. Иногда можно видеть детей в одном природном одеянии, так, как они в первый день рождения появились на божий свет, это значит, что мать моет их рубахи.

Так проходит утро, полдень; настает вечер.

Степан Иванов Окошкин возвращается домой, усталый и в поту. Отирая крупные капли со лба и щек, он отдает своей жене выручку—семь, редко восемь, гривен меди; распределяет, что нужно купить на следующий день, что нужно отложить в экономию и, утомленный дневною работою, ложится на лавке, чтоб до ужина несколько отдохнуть и понежиться. Тем временем жена собирает ужинать. Дети все до одного подошли к отцу, тормозят его—так они рады своему родному, которого не видели целый день, без церемонии садятся ему на ноги, на бока; а усталый отец ничего не чувствует: сладко для него это бремя. Он шутит с каждым поодиночке, смеется с ними и ласкает всех поочередно. День уже кончился: надо ужинать. Дети опять шумят; отец и

мать их унимают. После всех этих дряг семейство ложится на покой.

Ночь. Все семейство спит крепким сном, не спит только глава семейства. Степан Иванов с боку на бок порочается на жестком войлоке и раздумывает о завтрашнем дне. Что даст ему день грядущий? Найдется ли себе работа? Достанет ли его трудов на все семейство? Ведь цена поденщикам разная, неопределенная. Думает Степан долго, до полуночи: он не уверен в завтрашнем дне, потому не уверен, что он чернорабочий — он может таскать и поднимать разные тяжести, копать землю, а другого ремесла он не знает; не в первый раз случалось ему приходиться домой с пустыми руками. Неизвестность волнует его кровь и невольно бросает в жар. Он вспомнил два-три таких дня, в которые никто его не нанял, в которые он, как помешанный, ходил по всему городу, без цели, без мыслей, хотел даже решиться просить милостыню, и не мог, потому что язык не повиновался воле, а воля языку; вспомнил, как встретила его жена, как она ахнула и со слезами бросилась ему на шею, вспомнил, как он в то время заложил знаменитому кваснику последний женин сарафан, вспомнил — и мороз проник во все кости Степана Окошкина. Хорошо, если попадется Степану добрый человек, который даст ему рубль меди в день, и сверх договорной платы прибавит лишнюю гривну на калачи, а то ведь часто попадаются такие люди, которые стараются не добавить гривны, не имея на то никакой причины, по одной врожденной жадности и подлости.

Грустно! Шесть человек детей, один другого меньше. Всех надо обути, одеть; да мало ли чего надо на домашний обиход? Надо часто починивать избенку — почти развалилась, ветха стала: в ней жили и умерли дед и прадед теперешнего хозяина. И странно еще, как эту избенку не сдует ветром! Надо заплатить подушные — вот уже год наисходе — за пять душ, за весь почти год не плачено; а староста такой неумолимый; на все моле-

ния и прошения твердит одно и то же: „беда деньгу родит“. Как раз отправит в рабочий дом¹, а оттуда на межу, а оттуда... бог знает куда! Господи, да этому и конца не будет. Кружится голова у отца семейства, — в избе довольно тепло, а его бедняка проняла дрожь страшная.

Вместе с мужем и жена бодрствует, и ей бедняжке не спится. Она женщина простая, мещанка, мужичка, не знающая ничего, что знают другие женщины—немужички, но в ней есть сердце любящее, преданное, есть голова ничем внешним и пустым не засоренная. Она понимает свое назначение, понимает, что она подруга, спутница в сей жизни своего мужа; что она должна помогать в трудах, как умеет и как может, насколько достанет в ней сил: она и готова не жалеть своих сил, она жена и мать своих детей. Она понимает свое назначение, может быть, сильнее и глубже, чем иная начитанная провинциальная дама, жена какого-нибудь председателя палаты, которая, вследствие своих высоких познаний (по французским романам) в действительной жизни, позволяет допускать себе разные прихоти, совершенно несвойственные состоянию; заставляет разоряться своего мужа для модных и пустых затей и невольно заставляет честного человека брать взятки. Да, она женщина простая, даже неграмотная, но она изучила свое прошедшее, понимает настоящее и соболезнует о

¹ В Саратове рабочий дом был расположен на территории 371 квартала. Его жилые постройки выходили на Б. Сергиевскую (Чернышевскую ул.), между Вольской и Белоглинской. Отсюда и название Рабочего переулка, идущего параллельно Б. Сергиевской ул. В Саратовском рабочем доме заключенные делали кирпичи.

Еще в 1775 г. были учреждены в центральных городах рабочие дома, находившиеся в ведении полиции. Вскоре они получили исключительно исправительный характер. В рабочий дом рисковал попасть всякий, кто не имел твердого заработка, кто подозревался в прощении милостыни, занимался проституцией, не был в состоянии уплатить подати или долги. Возможность попасть в рабочий дом была постоянной угрозой для городской бедноты и деклассированных элементов.

будущем. Будущее! Что ты можешь дать этим беднякам? Ровно ничего или весьма немного. Хорошо, если бы, неопределенное будущее, тянулось так, как тянешься теперь, а то... Неизвестно!

Не спит жена. Она разделяет думы мужа и устремляет свои мысли на следующий день. Сколько зарабатывает ее муж? Этого знать ей нельзя. Может быть, ее Стенан придет с пустыми руками, печальный и унылый, и у ней, любящей жены, нет средств его утешить, успокоить; есть только у ней одни ласки и любовь. Да иногда, в минуты душевной тоски, и самые нежные ласки кажутся чем-то тяжелым, болезненным. Но минуты проходят, отчаянию уступает место уныние; мысли в голове бедняка смиреют и смиреют: впереди ему является надежда, бог. И бедный человек хочет жить, ему лишь расстаться с жизнью, которая принадлежит не ему собственно, а семейству. Как же помочь? Можно помочь подобному семейству легко и скоро, даже легче, чем поставить тысячу целковых на карту.

И думает жена одною думою с мужем:

— Бедные дети, помолитесь богу, чтобы скорее к нам пришла весна теплая. Я пойду работать на огороды, в сады, достану что-нибудь для вас, мои родненькие; рубашонки, сарафанишки на вас все развалились — плечи индпы. Помолитесь, деточки, — вы безгрешны: господь услышит вашу молитву. За весной наступит лето жаркое: я пойду на жнитво, наймусь работать, принесу вам денег много, кучу денег — десятка четыре рублей, а бог даст здоровья, и пять десятков; нашью вам новых рубашек, сарафанов, куплю по хорошему платку — не износить вам во весь год. И моему сердечному другу будет от меня подарок... Господи, пошли нам скорее лето.

Не могут спать муж и жена: забота не дает сомкнуть им глаз, забота закралась им в сердце, давит измученные груди, жмет, и все больше, сильнее и крепче — пот выступил у них на лбу. А на дворе воет вьюга и метель, и стоит суровая зима.

Полночь. Природа взяла перевес над телом: уснули муж и жена, крепко спят дети, собравшись кучкою на голой печке и прижавшись один к другому.

Новое утро настало такое же, как и прошедшие дни. Муж уходит, жена остается дома. Дети чуть успеют открыть глаза, уже кричат:

— Мама! Мама! Мы есть хотим.

И все одно и то же. Проходят дни за днями — и все эти дни похожи один на другой, и все нет никакой перемены в жизни бедняка. Грустно жить такую жизнью.

Однообразна... нет! Разнообразна лишениями, утомительно тяжела жизнь мещанина-поденщика, обремененного семейством. Много он трудился и много предстоит ему труда, огорчений, обид, даже побоев, много, много, должен он пролить поту, чтоб дожидаться той поры, когда он увидит, как один за другим подрастут его дети и станут ему помощниками, утешителями старости. Дождется ли он такой поры? Один бог знает.

Вот так-то жил, да поживал мещанин Степан Иванов Окошкин. Ничего! Можно еще жить, скажут те, которые смотрят на жизнь мещанина-поденщика издали, которые видят его поющим. Но они не знают, какое это пение. Впрочем, были мещане, которые жили вдвое лучше, чем Степан Окошкин. Были, жили, да умерли: теперь отдыхают.

Город Веселый¹ стоит на берегу реки Волги. Город этот обширен и многолюден; в нем процветают и большая торговля и мелкая промышленность. Точно в губернском городе, в Веселом жителей много, приезжающих и проезжающих много, доходов городской думе очень много, да самому-то городу пользы от того мало: мостовой нет, мосты редко чинятся, а если и чинятся, то тем хуже железному сундуку, хранящемуся в казначейской думе, потому что, во время городских построек,

¹ Вымышленное название Саратову дано, вероятно, по названию Веселой ул., поднимающейся из Глебучева оврага „на горы“, а еще больше по контрасту названия с жизнью тех, кого описывал автор.

он опустошается страшным и самым бесчеловечным образом. Но, что нужды, если сундук пустеет? Зато дрянные домишки господ гласных думы делаются весьма хорошими домами, а в домах проявляется мелочный и лишний комфорт; и в течение трехлетия мелочная их торговашка уступает место торговле настоящей и расчетливой промышленности. Однако, дело не в этом, а вот в чем: улицы в городе Веселом, главные называются — Московская, Сергиевская, Дворянская, Часовенная и другие; неглавные — Большая Казачья, Кострижная, Царицынская, Грошовая, Немецкая и очень много других.¹ На главных улицах этого достойного изучения города виднеется немало больших, красивых домов; но преимущественно в глаза проезжающего кидаются грязные, непроходимые улицы, ветхие дома, домики и лачуги. Такие улицы и дома находятся на склоне Соколовой горы, у буерака, заваленного навозом и всякими нечистотами, где в летнюю пору почти жить нельзя. Свежему, непривычному человеку весьма неприятно попасть в такое место: удушливые испарения, вредные газы так и просятся в нос и рот. Кажется, жить в подобной атмосфере невозможно, даже опасно: но привычка — дело великое! Были люди, а теперь их еще больше, которые живут в этих местах, живут с удовольствием, и неохотно расстаются с местом своего рождения. Соколовский буерак² довольно широк и глубокий; он начинается у Московской заставы и оканчивается у Волги. По обеим его сторонам разбросано более

¹ Московская — Ленинская, Б. Сергиевская — Чернышевская, М. Сергиевская — Мичуринская, Дворянская — Рабочая (между Ильинской — Чапаевской и Никольской — Радищевской), Часовенная — Чкаловский, Б. Кострижная — Сакко и Ванцетти, М. Кострижная — Пушкина, Царицынская — Первомайская, Грошовая — Дзержинского, Немецкая — просп. С. М. Кирова. Из этого списка видно, что теперьшний центр города тогда еще был окраиной.

² Так автор называет Глебов или Глебучев овраг.

тысячи домиков, лачуг и хижин, которые без плана торчат там и сям, словно ласточкины гнезда. Эти обитатели пятой части веселовских жителей, один другого плоше, старее; тут есть три, четыре большие улицы и множество кривых, извилистых переулков. В особенности же нечистоты и грязь господствуют по краям оврага, где домики чуть-чуть держатся и ежеминутно грозят скатиться вниз, на дно глубокой ямы. Хозяева домиков каждую весну подпирают их новыми шестами и поддерживают новою насыпью, которая существует только до проливного дождя. Все эти домики, лачуги и хижины, как и во всяком благоустроенном городе, разделяются на кварталы.

В одном из подобных кварталов, по ту сторону буерака, который тянется по нагорной стороне, в числе прочих, стоял домишко мещанина Степана Иванова Окошкина. Домишко, по всей справедливости, мог называться допотопным, потому что бревенчатые стены от времени почернели, полусгнившая крыша позеленела и поросла травой; местами даже росли на ней небольшие березки и ельник, семена которых, бог весть откуда, принесены были ветром. Издали можно было подумать, что это не жилище человека, а какой-нибудь зеленеющий пригорок. В домике было всего-навсего два окна; в окнах любознательный путешественник по веселовским стенам мог найти три, четыре стеклянных звена; в прочих отверстиях рам, вместо стекол, играла значительную роль сахарная бумага; зимой бумагу тщательно срывали, а отверстие затыкали тряпками. Сеней и крыльца тут никогда не существовало; ходили в избу прямо со двора, предварительно ступая на обломок жернового камня. Внутренность избы, которую хозяева, вследствие маленького тщеславия, величали „горницей“, состояла из одной только половины, довольно впрочем поместительной для семейства Степана Окошкина. Тут помещались русская печь, полати, несколько лавок по стенам. Двор был очень маленький, всего в четыре

квадратных сажени; на дворе не было никаких пристроек, необходимых в хозяйственном быту. Беден был владелец этого имения, пусто было у него в домике, пусто и на дворе.

Семейство Степана Окошкина состояло, как уже читателю известно, из восьми человек: он сам-друг, да шестеро детей, из которых старшей дочери было только десять лет. Еслиб мальчик имел такие лета, он мог бы быть помощником отцу, потому что отец мог бы его закабалить одному из веселовских табачных фабрикантов, докабалить лет на шесть за какие-нибудь двести пятьдесят рублей ассигнациями. Но на что пригодна десятилетняя девочка? В няньки отдать? А дома как без нее? Кто присмотрит за маленькими братишками, которые как раз свалятся в буерак и ушибутся до смерти! Кто поможет матери в домашних нуждах? Как жить? Как тут быть? На жену нечего много рассчитывать: говоря о весне и лете, она только хвастала, что нашьет своим детям рубах, сарафанов, того, сего, другого, третьего, — утешала только себя. Ведь мечтать всем позволено — и бедному, и богатому. Конечно, Дарья могла выработать весной и летом пятьдесят рублей ассигнациями, но этих денег недостаточно даже для уплаты подати за себя и семейство. Много еще нужно пролить пота, чтобы удовлетворить остальным нуждам. И всю эту тяжесть должен был нести на своих плечах ее муж. Его трудами кормилось все семейство.

Однажды, летом, Степан Иванов, по обыкновению, пошел на работу и уже более не возвращался к своему семейству. Жена ждет мужа, не дожидется; проходит день и еще половина дня, а мужа нет, как нет. Бедная женщина пришла в отчаяние, зарыдала, за ней заплакали все дети. Куда же делся ее муж, ее надежда, опора детей? Степан был и слыл за человека трезвой жизни, безукоризненного поведения, служил примером своим соседям: это что-нибудь не просто. Нескоро приходят хорошие, утешительные известия, а дурные так и лезут

со всех сторон: их вовсе не ждешь, а они уж тут и прямо в уши. Так было и с мешчанкой Окошкиной. Она недолго находилась в неизвестности на счет участи мужа. На другой день в полдень приходит к ней досужая соседка и с участием рассказывает, что на берегу Волги вытащили какого-то утопленника.

— Вот точь-в-точь, матынка ты моя, похож на твоего муженька, Степана Иваныча,—заключает соседка, не подозревая, впрочем, что своей неосторожностью она делает большой вред приятельнице.

При этом известии Дарья не могла не содрогнуться; предчувствие какого-то несчастья заговорило в ней, закипело и разлилось по жилам. Не мешкая одной минуты, она побежала на берег Волги. Надо было видеть несчастную женщину, чтоб судить о ее положении—тут всякое описание слабо. Она растолкала толпу зевак, собравшихся около тупа, сдернула рогожу, которою было покрыто тело—и застонала. Страшно было глядеть на нее: лицо ее позеленело и губы мгновенно почернели. Она не плакала, не рвала на себе волос, не кидалась из стороны в сторону; она только глухо один раз охнула и впиалась безумным взором в обезображенные черты мужа. Она стояла неподвижно, глядела долго-долго, до тех пор, покуда ее насильно не отвели от места. Да, этот покойник был ее Степан, бедняк, поденщик, человек ничтожный в обществе, но драгоценный человек для своего семейства. Теперь все было для Дарьи кончено. Вдова продолжала стоять и глядеть: она опять пробралась в кружок толпы. Кто-то со стороны сжалился над положением бедняжки и отвел ее в сторону: она не противилась и, как ребенок, позволяла вести себя, куда угодно. Дарью привели домой. Там она поглядела на детей, собрала их в кучу, всех перцеловала и горько, горько заплакала.

— Дети! Дети! Что я теперь с вами буду делать?—сказала вдова голосом, который мог тронуть самое безжалостное сердце.

Утопленника похоронили на казенный счет. Жена не прощала мужа до кладбища; она была больна горячкой. Живые соседи потушили о покойном соседе—и только. Всякий о смерти Степана Окошкина судил по-своему, и делал предположение о такой внезапной кончине, кто как хотел. Иные толковали, что Степан купался, далеко заплыл и от этого утонул. Другие думали и так, что Степан и не купался и не плавал, а с горя и бедности сам бросился в воду. Последние основывались на том, что утопленника вытащили из воды одетого. Бог знает, кому должно верить!

Крепкое телосложение вдовы Окошкиной понемногу поставило ее на ноги. Она выздоровела—и ужаснулась своего положения: нищета и голод грозно царствовали и во доме. Оборванные, неумытые ребятишки и возле ребятишек тощая дворовая собака, которую соседи из жалости спустили с цепи, которая жалобно визжала, жалаась возле детей и, голодная, лизала им губы, глаза, руки—все это больно-больно отозвалось в сердце вдовы; после болезни в первый раз она заплакала горькими слезами.

— Господи, научи меня, что мне делать с этими малютками?

Она указала на детей, посмотрела в передний угол, в котором стоял маленький образок с изображением спасителя, и опять зарыдала.

Грустная картина!

Прошло два месяца, как утонул Степан Окошкин; прошел и июль месяц 1831 года. Наступил месяц август, горячий в летописях города Веселого. Еще в конце июля по городу пронеслась, как туча, страшная весть: «холера идет!» Жители Веселого приуныли и повесили головы. Богачи заранее начали писать духовные записания, которые до времени оставили в гражданской палате, а сами—давай бог ноги—выехали из города. В Веселом остались только те, которые не боялись холеры, или те, которым некуда было скрыться. Эпиде-

мья начала свои действия; плачь и вопль распространились повсюду. Со всею силою и жестокостью холера свирепствовала в низменных частях города и опустошила почти целые кварталы. В число жертв попало и семейство вдовы Окошкиной: на одной неделе умерло у ней пятеро детей; остался только старший сын Петруша¹.

Спустя два года после этого бедствия, вдова начала все более и более хилеть. Усиленные труды, забота, тоска по муже преждевременно свели ее в могилу.

Она умерла, и бедняжка Петруша остался сиротою.

Годы шли. Петруша рос, да рос. После смерти матери он был воспитан, или правильнее, приретен какой-то добродетельной, тоже безродной старушкой, приятельницей его родителей, которая жила по соседству. Старушка, может-быть не взяла бы к себе младенца, потому что она была скупа и тряслась над каждой копейкой, между тем как у ней, где-то в глухом месте, под чужим забором было зарыто два горшка, наполненных мелкими серебряными деньгами. Надо думать, что добродетельную старушку соблазняла мысль: „дескать, у мальчика есть домишко; дескать, я могу жить и ничего не платить за квартиру“.

Петруша был взят, усыновлен.

Маленький Окошкин рос не так, как растут его сверстники: он не пользовался волей и свободой. Едва лишь

¹ Холера 1830 г. в Саратове началась в августе. Вскоре заболел губернатор Рославцев. „Все начальствующие особы“ бежали из Саратова в окрестности, их примеру последовали средние и мелкие чиновники (те, которые могли это сделать). В разгар эпидемии в городе умирало в день до двух сотен человек. Оставшиеся в Саратове администраторы и поправившийся губернатор посылали за бежавшими казаков в их имения и на дачи, чтобы вернуть чиновников к исполнению служебных обязанностей. В половине сентября, когда эпидемия почти кончилась, из Москвы прибыла Центральная комиссия из врачей с медикаментами. В 1831 г. эпидемия вспыхнула снова, но в меньшем размере. Макашин, несомненно, говорит о холере 1830 г.

настали его десятилетия пора и он весьма хорошо мог прожить лачугу, где жил, нареченная его мать сшила ему суму, повесила через плечо на шею и пустила по миру. С утра до обеда мальчик ходил по ближним частям города и собирал милостыню; воротясь домой, он не был праздным, потому что он вертел самопрялку, а воспитательница его сучила пряжу. Только в праздник, в послеобеденную пору, мальчик мог быть свободен и ему дозволялось поиграть.

Не красна была жизнь сироты. Но он к ней привык, в этой грязной жизни, свyksя с нею, будучи еще в пеленках. Часто, наигравшись и набегавшись досыта, Петруша крепко засыпал в куче пыли, на улице, возле дома. Иногда весеннее горячее солнышко, щебетание ласточек пробуждали его от долгого беспечного сна, а иногда, и очень часто, все это заменялось скрипучим голосом старухи. И бедный мальчик, у которого отжимали светлые гривы, опять начинал жить, как ему указывали.

Между тем, старушка, воспитательница Петруши, день ото дня становилась дряхлее и ближе приближалась к смерти. В это время Окошкину исполнилось дв надцать лет. Он уже не ходил по миру; он был в таких летах, что мог заниматься работой, которая по большей части состояла в плетении лаптей. Нареченная мать, казалось, любила своего приемыша, и не могла расстаться с ним ни на одну минуту: Петруша постоянно должен был находиться при ней.

Во время ясных дней, когда солнышко сияло в полном своем блеске, старушка садилась на завалинке и подзывала к себе воспитанника. Разговору тогда у них не было; они большею частью молчали; но в ту пору они, как нельзя быть больше, оставались довольны друг другом.

В один из таких дней, вскоре после обеда, старушка и мальчик, по обыкновению, сели на завалинке. Старушка была грустна и уныла; мальчик глядел на нее молча и крепко о ней соболезнавал. После продолжительного

молчания, старушка обратилась к мальчику со следующими словами:

— Трудись, Петрушенька, трудись — говорила она, — наживай копейку. На чужих людей нельзя иметь надежи.

— Да я и так, мамынька, тружусь, — отвечал Петруша, в недоумении поглядывая на говорящую, — да вишь ты прибыли-то нету.

— Экой ты, касатик, какой глупый! Надо терпеть, и все будет, что надо. Вот я старушонка, бабенка дрянная, а у меня есть кока с соком...

Последние слова она произнесла, значительно посмотрев на мальчика.

Петруша не проронил ее слов, однако не взглянул на старушку.

— Есть, батюшка, Петрушенька, — продолжала она с таинственной улыбкой: есть кока с соком! Коли умру — все тебе откажу: будешь меня вспоминать грешную, и богу за меня молиться станешь.

— Нет, мамынька, — перебил Петруша, грустно кивая головою, — коли бы у те было что, ты не заставляла бы меня плести лаптищев. За гривну я мучусь почесь целую неделю.

— Экой ты какой! Уж я тебе говорю, что есть.

— Нет! — резко воскликнул Петруша, желая заманить старуху на откровенность.

— Есть, есть! — отозвалась старуха, не подозревая маленького плутовства своего воспитанника.

— Ан нет, нету.

— Есть. Хошь поспорить!

— Хочу.

— Поспорим. Об чем же?

— Об заклад.

— Вестимо об заклад.

— Поспорим — ну.

— Поспорим... Если у меня, есть кубышка, — начала говорить старуха, останавливаясь на каждом слове; если есть...

Идруг старуха дико вскрикнула и повалилась с завалинки на землю. Сильные судороги начали корчить все ее члены, и глаза закатились под лоб. Петруша испугался и побежал кликнуть соседей. Покуда он успел воротиться с двумя какими-то женщинами, нареченная мать умерла, не успев сказать воспитаннику о двух своих драгоценных горшках, в которых хранились серебряные деньги, и которые были глухо зарыты под чужим забором.

Непростительная глупость — зарывать в землю деньги еще до сих пор господствует между простым народом. Эта привычка обратилась почти в наследственную, особенно по деревням и селам, где нередко какой-нибудь безумный старик или выжившая из ума старуха отказывают себе в необходимом, переносят все лишения, терпят голод и холод, собственно, для того, чтобы скопить лишний рубль и зарыть его в землю. Были примеры (и тысячи), что дети скряги, стоя на коленях пред его смертным одром, умаливали со слезами открыть им, куда спрятаны деньги, где они зарыты. Скряга хотя и чувствовал свою близкую кончину, но стоял на одном: «у меня нет ничего». Для чего это делается? На этот вопрос не сумеет ответить ни один скряга. Кому же достанутся эти деньги, над которыми при жизни так трясают копивший их? Молчаливой земле или тем людям, которые за этими делами наблюдают и смотрят рысьими глазами. Между тем, сын или родственник скряги был бы счастлив и благодарен, что доставили ему, а не земле скопленное добро.

Бедняк Петруша остался таким же бедняком, каким был взят покойной старухой в дни своего младенчества. Клад нареченной его матери пропал не только для него, но и вообще для всех тех людей, которые любят захватить чужую собственность. Вскоре, к довершению горькой участи мальчика, пришли и нашлись родственники его воспитательницы и весьма обязательно выгнали его на лачуги, которая, по их мнению, должна принадлежать

им, потому что не так же, дескать, мальчик воспитывался: надо что-нибудь взять и за труды.

И взяли у Петруши домишко, а его прогнали со двора долой. Заступиться за него было некому, а жаловаться кому-нибудь ему и в голову не приходило.

В это время Петруше исполнилось пятнадцать лет.

В отчаянии он схватил свой халатишко, взял суму, с которой некогда ходил по миру, положил туда все, что нашлось под рукою съестного, ласково поклонился людям, которые его выгоняли, и вышел из своего жилища, чтоб никогда в него не возвращаться.

Грустно ему было. В целом городе не было никого, кто бы о нем позаботился! Два дня он ходил по городу, как помешанный, без цели. На третий день, вечером, проходя с порожней сумой по одной многолюдной улице, он присел отдохнуть возле постоянного двора на тротуарном столбе.

Солнце склонялось за гору; скоро должно было сделаться темно.

Петруша сидел и думал о своем положении. Он не замечал ничего, что вокруг него происходило; он был в полубеспамятстве. Сума, в которой поутру было несколько кусков хлеба, теперь была пуста; он был голоден и страшно тосковал. Мимо его проходил разносчик с калачами; калачи были недавно вынуты из печи, рядом лежали на доске, а доска была длинная, и разносчик нес ее на одном плече. Пар от калачей так и лез в нос голодного Петруши, так и шевелил его аппетит. Петруша пошел за разносчиком, жадно впивая в себя калачный аромат. Разносчик шел тихо и не оглядывался, а самый задний калач такой мягкий, такой соблазнительный, должно быть такой вкусный... Петруша посмотрел по сторонам, протянул руку... но вдруг он круто повернул назад, воротился на прежнее место, прислонился пылающим лицом к забору и принялся тихонько плакать. Нет, он не мог быть вором, хотя голод его был невыносим, мучителен. Он плакал, горько плакал... Бедняку хотелось умереть, и

он не янал, как умереть; на лице его было написано такое отчаяние, которого никакое перо, никакая кисть описать не могут.

— Господи! — подумал он, — что я буду теперь делать? Куда пойду? Хоть бы поесть чего маненечко...

И он опять залился слезами.

Было уже довольно темно. Однако на улице кое-где показывались пешеходы, торопящиеся к своим ночлегам, но никто из них не обратил внимания на несчастного, плачущего Петрушу; надо полагать, что в ту пору было никому до себя. Меж тем вопль Петруши вскоре услышали. Калитка позади его отворилась, и на тротуаре возле несчастливца показался молодой мужичок, который держал в руках связку ключей и фонарь.

Это был дворник постоянного двора.

— Ты что плачешь, парень? — спросил он, ласково трепля Петрушу по плечу.

— Жить негде, — всхлипывая отвечал Петруша.

— Как же евто негде?! — повторил дворник, бросив подозрительный взгляд на отвечавшего.

— И есть-то нечего, родимый! — договорил Петруша, трудом удерживаясь от громкого рыдания.

Дворник помотал головою.

— Ты кто такой? Откуда ты? — спросил он.

— Здешний мешанин.

— Мать есть что-ли?

— Нсту.

— А отец?

— Нету.

— А бабушка?

— Нет, нет.

— Ну, так я чаю, есть у те дедушка какой ни-есть?

— Нету, никого нет, родимый.

— Как же евто негде жить-то те? — спросил еще раз дворник, задумчиво и в размышлении посматривая то на фонарь, то на калитку, в которую он вышел к Петруше, то на самого Петрушу.

— Негде! Ей богу, негде! Лопни мои глаза, негде.

— Да ведь ты здешний?

— Здешний мещанин, сирота.

Петруша опять начал плакать.

Дворник был мужичок неглупый. Он понял в чем было дело и тотчас пригласил Петрушу к себе в избу ночевать.

— Видно делать-то с тобой нечего, парень,—сказал он, взяв Петрушу за руку,—надо с тобой помириться. Поди, переночуй у меня.

С этими словами, мужичок ввел Петрушу на двор и запер за собой калитку. Петруша вдруг очутился в большой просторной избе, где на него так утешительно повеяло запахом щей и каши с коровьим маслом. Теперь Петруша не хотел уже умирать; он весело смотрел на жизнь и поглядывал на стол, покрытый пестрядинным столечником, около которого заботливо хлопотала молодая пригожая женщина, устанавливая его оловянными тарелками и деревянными чашками. Петруша совершенно забыл свое положение: ум его раболепно следовал за каждым движением руки молодой женщины. Казалось, он готов был душком проглотить и стол, и тарелки, и самую женщину.

Вскоре Петруша сидел за столом. Хозяин и хозяйка попеременно старались потчевать голодного гостя. Они поминутно подкладывали ему лучшие куски и поминутно говорили:

— Ешь, ешь, родимый, во славу божию, ешь до-сыта.

После ужина Петрушу всячески старались приласкать и наконец уложили спать. Хозяева постоянного двора не обременяли никакими расспросами своего неизвестного постояльца. Они за ним ухаживали не из любопытства, чтоб выведать его родословную и узнать похождение; но собственно из одного только бескорыстного великодушия и человеколюбия. Поутру Петруша сам рассказал хозяевам о своем положении; ему взялись помочь, сколько позволяли их силы и средства. Много есть злых людей, да и добрых немало.

О своем доме Петруша не сказал ни слова, потому что он не знал наверное—он ли наследник своему дому, или старушка, его воспитательница. Еще при жизни, старушка все уши ему прожужжала, что, дескать, домишко ее был с-издавна; что, дескать, родителей Петруши она пустила жить Христа ради и т. п. Петруша этому верил и подумал в последний раз:

— Пес с ним и с домом! Стоит он три алтына. Я был там чужой. Теперь там нашлась родня... Лучше молчать, а то добрые люди станут смеяться..

Прошло три месяца как Петруша прожил у этих добрых людей, которые не брали с него платы ни за квартиру, ни за пищу, потому что он не был еще пристроен к постоянной работе. Между тем, так как хозяева Петруши были сами люди весьма небогатые, а Петруша не имел никакого мастерства и сидел дома, то один из членов семейства присоветовал Петруше ходить работать на поденщину. Это занятие для Петруши было наследственное.

— И-и-хи-хи! Что делать-то, касатик наш, Петрушенька, — заключила семейный совет старуха, мать дворника: делать нечего. Надо положиться во всем на волю божию, так и прок тогда в тебе будет, родимый, Петрушенька. Ступай, поработай: сами-то мы, вишь ты, люди немочные, деньжонок залежных не имеем. Рады бы радехоньки чествовать тебя, да могуты то нашей поту: ты, чаю, евто примечаешь. Живи опричь того у нас сам сколько хошь; мы за евто с тебя ничево не положим, будем за тобой ухаживать; захлорается те — не бросим зря.

Петруша благодарил за советы и поочередно всем кланялся в ноги. В это время Петруше исполнилось шестнадцать лет.

Доселе Петруша жил бедно; но и теперь он жил не лучше. Из всех пятнадцати тысяч мещан города Веселого, записанных по ревизским сказкам, Петруша был круглым сиротою, самым горьким бедняком — это все

наследственное: богатый наследует богатство, бедный — бедность, грустная истина. Кроме безысходной бедности, Петруша наследовал родительскую недоимку: за восемь лет за пять душ не плачено податей; страшно: свобода Петруши в опасности, — как раз попадешь в рабочий дом. Туда поступишь молодой, со свежими силами, а оттуда выйдешь с седою головой, согнутый в три погибели — страшно, страшно. А народная перепись еще не скоро — пожалуй еще накопится сотни четыре. Да что, если дойдет до тысячи слишком рублей!? Так и умрешь в рабочем доме; никогда оттуда не выйдешь!

Нет, лучше смерти! — думал часто Петруша, возвращаясь с работы домой и боязливо озираясь по сторонам.

А смерть была от Петруши далеко-далеко, потому что вся натура Петруши кипела здоровьем, молодостью, силой. Жить надо! — шепчет ему неумолимая сущность. Теперь надо! — шепчет ему далекая надежда.

Петруша не был ленив, он так же, как и покойный отец его, работал сильно и крепко. Но, боже мой! Что такое поденная работа, особенно на берегу Волги, где выгружают соль, известь, мел, лубки, дрова? Какую может принести она прибыль? Увы! Поденщики умирают там большею частию от водяной болезни, от изнурительных лихорадок, ревматизмов, приливов крови к голове и т. п., потому что чернорабочие, вспотев, тут же купаются: река под боком, да и всевозможные болезни близко.

Петруша работал прилежно, но едва-едва мог перебиваться хлебом, да щами. В нашем городе Веселом съестные припасы хотя недороги, но Петруша постоянно соблюдал строгую диету, как будто он в самом деле был болен чем нибудь. А болезнь его была такого рода, что он, по случаю своей молодости, каждый день зарабатывал только сорок копеек медью. Это — приход; а вот расход: пятак в день он платил за квартиру, двадцать копеек расходовал на хлеб, т. е. на всю дневную пищу, остальные пятнадцать копеек выходили

на одежду и обувь, которая непомерно носилась и рвалась, словно в досаду Петруше. Откуда же взять денег, чтоб заплатить податную недоимку, с каждым годом все больше и больше растущую? Тут точка. Иной раз Петруша старался соблюсти строгую экономию: ведь надо же хоть за самого себя заплатить подати; никто не живет даром на белой земле. Но у Петруши нам староста и старшины отбили охоту платить подати и несколько заставили его быть неплательщиком. В первый год, как Петруша стал жить самостоятельно, он первую и священную обязанностью счел — отнести за себя подати; он успел уже скопить четыре целковых — исключайшее богатство для чернорабочего. Петруша отправился в контору мещанского общества.

— Ваше степенство, я принес подушные, — сказал он, подходя к столу, за которым величественно восседал предводитель мещанства.

— Ладно, голубчик, как ты прозываешься?

— Окошкин.

— Иван Сгибнев! — крикнул староста, обращаясь к носому писаришке, который сопел над какой-то толстой книгой, — справься в податной — нет ли на семействе Окошкина недоимки?

Пьяный писарь начал справляться, а Петруша стал неизвестно отчего дрожать всем телом.

— Недоимка-с водится за Окошкиным, — отозвался Сгибнев, показывая старосте податную книгу.

— Э-э-ге! — воскликнул староста, — это ты что, паскудник, до сих пор не платил? Где ты был, вор? Почему не являлся? Говори!... Шутка! Около пятисот рублей! Да сгниешь в рабочем доме, мерзавец... Эй, Зиновий! Храмов!

— Явились рассылные.

— Заметьте этого человека — может он бежит, уйдет; на нем пятьсот рублей недоимки...

— Евто не за мной, — осмелился заметить Петруша, — а за тятенькой...

— Молчать, скот! — грозно перебил староста, — все равно: отец твой умер; теперь ты сам наибольший, сам и плати — так следует по закону...

— Ваше степенство, я не виноват, ей господи, не виноват...

У Петруши показались на глазах слезы; горечь и желчь скопились около его сердца и мешали свободному дыханию. Староста не любил слез — он велел Петрушу запереть за решетку. Три дня Петруша пробыл там и проел целый четвертак. На четвертый день, рано утром, сторож позвал его в мещанскую контору. Там никого еще не было, кроме писаря Сгибнева.

— Хочешь на волю, — спросил Сгибнев Петрушу.

— Коли не хочешь, если милость твоя будет.

— Надо могарычи.

— У меня нет.

— А чем же ты хотел заплатить подушные?

— У меня только четыре целковых...

— Вот их-то и давай сюда.

— А подушные как-же?

— Не твое дело рассуждать; давай сюда четыре целковых и будешь свободен.

— А рассыльные-то?

— Что тебе за дело до рассыльных — тебя сам староста, Иван-Ваныч, отпустит.

Петруша отдал Сгибневу все свои деньги. Сгибнев отправился к старосте на дом. Какие этот писарь представлял старосте резоны — неизвестно, только Петруша точно получил свободу.

Как-бы то ни было, а Петруша сильно заботился об этом предмете и всеми мерами старался заплатить подати хоть за одну свою душу. Он покупал на семишник одного ржаного хлеба, на грош луку, да в обед и ужин ел все это во славу божию, без перемежки месяц, два, три и больше. Иногда, желая доставить себе удовольствие, Петруша покупал на трешник русского табаку и покуривал из коротенькой трубочки. При этом

он любил помечтать и поразмышлять сам с собою, в таком роде:

— Голубчик-староста, дай ему господь прожить несчетно нека, сам отпустил меня из-за решетки; а то было, разбойники-рассыльные совсем захрулили. Ну, работал для него три дня — ну! Евто дрянь: для доброго человека три года можно проработать. Ну, говорит, ступай, Петька, к чорту, копи деньги, работай, не ленись; а пройдет год, подушные неси; хоть матушку-репку пой, а неси; для рассыльным не попадайся, не плошай, рот не разевай, заводишь — улепетывай. Слышишь? — говорит. Слышу, мол. Ну, — говорит, я для тебя делаю добро — помни. Помню, мол. Ну, — говорит, вашава брата, голытьбы, много — потакать всем нельзя. Чувствуешь? — говорит. Чувствую, мол. Ну, — говорит, попадешься — отправлю в рабочий дом.

Тут Петруша сморщился и плюнул, потому что к нему в рот через чубук попала табачная эссенция. Потом, отнаживаясь, он продолжал.

— Ну, говорит, неплательщиков много-премного; пьяница, говорит, — не могут заплатить пятнадцати рублей! Ты, Петька, говорит, вот не платишь, даром что не пьяница, а будешь пьяницей, говорит. Не буду мол, ваше степенство. Ну, говорит, врешь, будешь — теперь, говорит, ты мальчишка. Ей господи, не буду мол. Ну, говорит, признавайся, будешь пьяницей? А не признаешься, так за виски. Буду мол, ваше степенство. Ну, вот, говорит, молодец! Не скрытен. Ну, говорит, рассуди ты, Петр, сам, говорит: пятнадцать рублей с души в год, ничево, дрянь? Ничево, мол. Ну, говорит, отчего ты сам, мошенник, не платишь? Нет, мол, денег, говорю. А, говорит.

Тут Петруша еще раз плюнул, потому что он вспомнил, что в разговоре со старостой, при слове „а!“, староста ударил его щелчком по лбу, очень даже больно ударил; к тому же Петруше в рот попала опять горькая табачная эссенция. Однако он не унывал и продолжал мечтать.

— Ну, говорит, ты мальчишка, дурак, молод-зелен, а старые черти почему не платят? Не знаю мол, ваше степенство. Ну, говорит, ладно, пусть не платят: заплатить нельзя — справедливо, надо всю правду сказать: десять человек мужеска пола в семье, а только два работника — э-э-э! Сто двадцать пять рублей чистых податей, кроме всево другова прочева... Что, Петька, скажешь?—говорит. Да мол, говорю, ваше степенство. Ну, говорит, это не так, ни под силу, говорит: дескать нет земли у мещан, нет полей, нет лугов — ничево нет, говорит... Ничево мол нет, ваше степенство. Ну, говорит, ведь всем торговать нельзя, евдак, дескать, и покупать будет некому. Что скажешь?—говорит. Не знаю, мол. Ну, говорит, есть мещане богатые: пятнадцать рублей в год заплатить для них — плевое дело, их нельзя равнять с бедными; грешно, говорит. Вот, говорит, я сам—староста, говорит, имею пятьдесят тысяч чистова капиталу: готов, говорит, заплатить двести-триста рублей в год — и ничево; а таких, говорит, мещан немало — притаились, говорит; в купцы выходить не хочется; одна, говорит, душа, а торговать можно на чужое имя. Что скажешь, Петрушка?—говорит. Не знаю, мол, говорю. Есть, говорит, плуты мещане, сущие мошенники, говорит: вот, примером, семейство Превратухина почему держится в купцах? Потому что в солдаты итти никто из них не желает, а капитал-то купеческий как промежь собой собирают? Полтинниками, да целковиньками; ведь у них без мала тридцать душ мужиков, да баб столько же; одна сказка на трех листах! Что скажешь, Петька?—говорит. Не знаю мол, не мое дело. Эх, говорит, Петя! Порядку у нас, говорит нет в обществе... Порядок мол есть, говорю... Дурак, говорит: порядок есть, говорит, у тебя под носом. Какой порядок! Надо с семейства взять рекрута, а его выпускают в купцы — вот, примером, Свешникова выпустили, Кондальского: за них в солдаты пошли другие... Что скажешь, говорит? Не знаю мол, ваше степенство. Взятчики!—говорит, а все виноват думский секретарь Толстобрю-

хов — он всеми делами ворочает; своих дел мало, так надо в наши вмешиваться; Свешникова он, мошенник, выпустил в купцы... Что, Петя, говорит, скажешь? Не знаю мол, говорю. У казенных крестьян, говорит, на-все хорошо: земля есть, поля, луга — и порядок другой; есть на счет солдатства жребий: сама судьба-матушка укажет, кому итти в солдаты, и сердиться тут не на ково. Славно там. А мещанин, говорит, голь-голюю, и ему взять негде — в услужении не разгуляешься! А семейство стучи зубами.

— Что, говорит, бездомные мещане? Почесть все равно — барские люди. Да мол, я евто знаю... Да ты, говорит, Петрушка, за мной вторишь? Сам, говорит, ничего не выдумашь?

— Выдумаю мол, ваше степенство, коли немножко подроству. Ну, говорит, как ты, Петька, скажешь на счет себя? Не знаю мол: нечево говорить-то — все пере-говорил. Ну, говорит, ты дурак, молокосос, коли не знаешь. Да, говорю, можете дурак: почему я знаю евто: у меня на лбу не написано. Ну, говорит, ступай, Петя, домой и позаботься о подушных — зря толковать с тобой нечего. Очень мол, хорошо. Ну, говорит, забыл тебе сказать, отчево бедные мещане пьяницы... Да нет, говорит, не скажу: много будешь знать — скоро состаришься. Знашь эту пословицу? Нет мол не знаю. Ну, говорит, ступай с богом, Петя, домой... Голубчик — староста, дай господи ему здоровья.

Лидо Петруши показывало спокойствие.

Повидимому, все для Петруши было хорошо, сносно, даже утешительно; да нехорошо, несносно выходило впоследствии. Вот деньжонки в холстовом кошельке Петруши помаленьку накопились, да накопились: вот уж у него есть полтинник, вот еще прибавился гривенник, вот завелся новенький пятиалтынный... как вдруг, в какой-нибудь праздник, в злополучный для Петруши день, а всего больше в воскресенье, после недельной работы, приходят к нему на квартиру два, три приятеля.

По русскому обычаю, Петрушу постоянно застают на печке. Приятели садятся против него на скамье, и все эти приятели такие же чернорабочие, как сам Петруша.

Все ли здоров, Петяша?—спросит кто-нибудь из них Окошкина.

— Живем пока,—отвечает Петруша с печки, почесываясь и вытянув шею.

— Выходит—слава богу?

— Вестимо.

— Слава богу—лучше всего.

— Да.

— Ведь чай те скушно?—спросил другой приятель.

— Нету, ничево нескушно,—спешит ответить Петруша, предчувствуя, что приятели пришли к нему не с добрым намерением.

— Врешь, скушно: по глазам заметно.

— Нету, мне ладно покамест.

— Толкуй зря-то, Петяша,—замечает третий приятель: тебе скучно, сердешный. Гляньте-ка туда на нево, робята; ведь чай, все бока он пролежал, родимый. Будет те сиднем сидеть, пойдем продуемся на ветерочек, пойдем, прогуляемся.

— Пойдем, пойдем!—вторят остальные хором.

— У меня, братцы, нет денег.

— Во! Раскалякивай ты нам. Знаю мы, как нет-то: полно нам рассказывать балясы. Чаю, мы не за евтим пришли, чтоб у те выманивать деньги. Знаю ведь мы, что денежки-то горбом достаются!..

— Да что там без денег делать-то?—отзывается Петруша в последний раз, по возможности придавая своему голосу, как можно более, плачевного тону и какого-то неприятного скрипу, желая этим избавиться от своих приятелей-нахалов. Что мне там—спать что ли?

— Полно, полно калякать пустое. Иди с нами—веселье будет!

Приятели, видя твердое намерение Петруши—удержаться на своей выгодной позиции, на печке, влезают

и нему туда, берут под руки, насильно напяливают на него халатишко и влекут вон из квартиры. Петруша не сопротивляется: у него не достаёт духу обидеть отказом приятелей; он человек сговорчивый. Приятели с Петрушей приходят в то место, где так много дарится бедотцам семейства, матерям, несчастным женам; где молодые люди безвозвратно теряют драгоценное здоровье, откуда все эти жалкие посетители „Распивочного заведения“ приходят домой в каком-то чадном полувеселье, полубезумьи, в забытьи самих себя, своих матерей, жен, детей, одним словом, в забытьи всего. Там они сели; тут подали штофики, полуштофики и косушки—и пошла круговая речь-беседа. Стены заходили, закружились, заходили столы и стулья, люди запрыгали, зашвертелись пол и потолок, все завертелось колесом, а с тем вместе голова Петруши стала непохожа на его прежнюю голову: голова, кажется, та, да не та, похожа эта голова на какую-то другую голову, не то на коровью, не то на баранью, не то вовсе на какой то пустой арбуз, только никак не на человеческую голову. И думает эта голова дрянь страшную: „вот,—мыслит пьяная голова,—пойду поклонюсь в ноги будошнику, скажу ему: дядюшка, помилуй, не бей меня своей толстой палкой, все косточки переломишь, у тебя рука такая здоровенная, инда страсти сказать! Жалости-то ты нисколько не знаешь, дядюшка, тебя на службе пороли, как сидорову козу, так ты хочешь на мне навестать. Ну, я пьян теперь: не буду вперед. Да что-ж за беда такая! Ведь вино продают на то, чтоб пить: если никто не станет пить, так откупщик удавится. Ведь все пьют: и начальники разные пьют, и всякие другие набольшие, и сам виц-губернатор пьет, даром что живет в красных хоромах: нельзя и не пить, как горе есть какое-нибудь“. Прежде, эта же самая голова думала не так, совершенно не так. Сидит Петруша с приятелями в „Заведении“ и голова его свесилась на стол, и все мечтает эта голова о будочниках и других занимательных предметах. Он

сидит, а кошелек его холстинный развязался, и бывшие там полтинник, двугривенный, пятиалтынный,—все эти денежки улетели в чужой карман. И все это недостойное внимания обстоятельство случилось в продолжении двух часов хорошей беседы.

Понутру Петруша проснулся и в прах разобрал откупщика питейных сборов, посулил, чтоб он сам также нарезывался и потерпел бы такие убытки, какие потерпел он, Окошкин. Да напрасно трудился, потому что откупщик не так глуп: кроме шампанского, не пьет никаких напитков. Прощай экономия! Петруша опять начинает работать и голодать; все у него как-то не спорилось. Сколько раз он давал себе зарок: не знаться с такими людьми, как его приятели, которые умеют только вводить в разные напасти; хорошо им прогуливать свои денежки: они занимают тепленькие должности. Кто на табачной фабрике делает сигары, кто живет в портных, кто в кучерах, кто в лакеях—всем прибыльно. А он что же такое, он, Петруша? Он бедненький, работает на поденщине, и опять-таки получает дрянную плату; нет у него и залежной копейки.

— Скверно, расстрели ее в корень! — думает Петруша по утрам, отправляясь на работу, — нельзя вовсе ходить. Того и гляди, что рассыльные поддедюют и потащут к старосте. А ев тот староста, чтоб черти его задавили, два раза уж посулил отправить меня в рабочий дом: дескать, почему не платишь ты подушные деньги, дескать ты, шаромыга, пьянствуешь. Г-м! Хорошо, ладно так финтить-то ему, толстопузому чорту: он имеет пятьдесят тысяч: наворовал да и хвалится ими лысый дьявол. Он вон там форсит на наши денежки, приятелям всякие угощения задает, а ты... эх-ма, ты жисть!..

При этом восклицании Петрушка значительно провел рукою по воздуху; но, к крайнему его изумлению, рука его вдруг очутилась в чьих-то двух дюжих ручищах.

В самом деле, на этот раз перед ним очутились двое

рассыльных, посылаемых от конторы мещанского общества для сбора неплательщиков.

Петруша побледнел, затрясся всем телом и, как вкопанный, стоял на месте.

— Ага, попался!—сказал один из рассыльных, дюжий мужик, с отвратительной, пьяной физиономией: теперь-ка не сорвешься, ершь евтакой. Вишь, ширшень, прягаться задумал!

— Тащи ево, Зиновий к Иван-Ванычу, тащи его за ремень, —заговорил хриплым голосом другой рассыльный: надо мы давно ево ищем. Вишь, какой лоботес, а подушных не платишь! Тащи, тащи ево, бери за шиворот.

Петруша пытался было вырваться, но все его усилия остались напрасными. Кроме того, он этим довершил только свое невыгодное положение: две руки рассыльных переменяли свое прежнее направление, то есть эти руки взяли Петрушу за горло.

И бедняку не было возможности нидохнуть, ни шельнуться.

— Ай, батюшки, караул! Задушили! — пищал Петруша хриплым, чуть слышным голосом.

На это ему весьма снисходительно заметили:

— Ничево, брательник, не издохнешь: на тебя сестям двоим, так ничево—не околеешь.

— Родимые, голубчики! Отпустите,—молил Петруша жалобно,—что хотите возьмите, только отпустите.

— Да что ты орешь, зря?!—заметил рыжий рассыльный,—ну чево с тебя взять-то? Горсть волос что ли?

Как бы желая удостовериться, точно ли у Петруши крепка голова и можно ли взять его за волосы, рассыльный свою жертву потянул с любовью за виски. От боли лицо Петруши покраснело и из глаз посыпались искры.

— Родимые! Голубчики! Отпустите Христа ради, — продолжал умаливать Петруша, — все отдам, только отпустите.

— Врешь, врешь.

— Да вы хоть не бейте меня, дядюшки... Я не виноват перед вами.

Петруше освободили обе руки, но взяли за полу халата.

— Ну что-ж, пусти ево, Храмов, — говорил рыжий рассыльный, — пусти ево — посмотрим, что от него будет.

Петрушу совершенно выпустили из рук; теперь он стоял на свободе. Сначала Петруша хотел обратиться в бегство; но, подумав несколько, согласился сам с собой, что как притко ни бегай, а рано или поздно поймают, и тогда, конечно, будет хуже. Петруша хотел отделаться от рассыльных ласками и просьбами.

— Вот что, братцы, — начал он говорить, став перед рассыльными на колени, — вы уж меня ради бога не берите. Я сам приду, коли у меня будут деньги...

— Э, брательник! Ты нам дудки-то не строй, — перебил рыжий рассыльный, взяв Петрушу обеими руками за полу халата, — ты брат, на голову-то не наваливай. Знаю мы еви балясы. Пойдем-ка лутче к старосте, к Иван-Ванычу: он те чупрун-то взбударажит. Нам и так за вас, лодырей, нет житья-покою. Пойдем-ка, дружище.

Петруша заплакал.

— Отцы родные! Не тащите меня к старосте-то; я лутше вам отдам халатишко. Нате, возьмите.

Петруша начал скидывать свой халат.

— Погодь-погодь, дуралей, — заговорил другой рассыльный, — что ево ты делаешь? Вишь смотрют посторонние люди: подумают, что мы тебя грабим. Ты вот что, брательник, сделай, — ты купи нам полштофа винда, да и ступай себе на все стороны.

— Ох, батюшки, я ведь рад-радехонек купить вам целый штоф, да нету денег-то!

— А халат ты нам даешь же?

— Возьмите.

— Спасибо, приятель, сам им владей, а мы не воры, мы честные люди, живем своим трудом — чужова добра

не желаем. Ты вот что сделай, так, знаешь, по приятельски: мы все втроем — ты, я и Храмов, пойдем в ведерную: у меня есть там знакомый сиделец, он даст под твой халат полштофа. Теперь раскумекал что ль?

Петруша согласился. Из ведерной Петруша вышел без халата трезвый и отправился на квартиру. Он не пошел на работу, потому что на дворе стояла глубокая осень и ему было холодно в одной рубашке, к тому же ему было грустно и больно: у него взяли халат, а сроку дали только на два месяца. А там придет зима... А халата нет, а работа плохая!...

— Господи! — подумал Петруша, — за что ты посылаешь мне такие напасти? Что я кому сделал?.. Как было бы хорошо, еслиб я умер. Что мне одному болтаться на свете? Некому за меня заступиться-то: один, как бубень; не с кем промолвить путного словечка: все мне чужие. Владычица! Мать божия! Прибери меня скорее-ничко... Халатишко-то последний у меня отняли...

И Петруша залился горькими слезами.

В это время ему исполнилось семнадцать лет и два месяца. Еще десять месяцев, а там... Да, тяжело бедняку на этом свете!

НЕСКОЛЬКО ПОДРОБНОЕ, НО ВЕСЬМА ПРАВДИВОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОДНОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

Будущий городской голова, его высокостепенство (так его называли и титуловали почти все купцы и мещане города Веселого), господин Степан Степаныч Подметкин¹, родился не так, как рождаются другие обыкновенные люди. Природе хотелось произвести его на свет человеком необыкновенным, так и родился он необыкновенным образом. Он родился в тысяча семьсот восемьдесят девятом году, октября четвертого дня, то есть, попросту сказать, увидел мир и людей прежде настоящего времени, потому что мать его, от побой своего сожителя, не доносила его целых два месяца. Следовательно, Степан Степаныч Подметкин был только семи месяцев, когда, в один прекрасный вечер, какая-то кривая, довольно почтенной наружности девица, представляющая попа, погрузила маленького и „хиленького“ Степашу в кадушку, наполненную водой. Надо заметить, что родители Степана Степаныча были какой-то „Дуниной“ веры, о которой в настоящее время нет ни слуху, ни духу. Он, Степаша, был первый и последний сын у матери: пьяный его отец, вскоре после родов, еще раз поколотил свою жену, но поколотил так неосторожно, что она чахла, чахла и, наконец, отдала душу богу. Маленький Степаша был взят из человеколюбия сестрой его отца. Добрая сестрица слыла (между своих) благочестивой девственницей, исправляла усердно всякие обязанности по своей

¹Прототипом автору послужил сар. гор. голова Л. С. Маслеников (см. о нем подробно во вступит. заметке).

моленной — была и чтецом, и уставщиком, и толкователем трудных мест в псалтири, и попом, и т. п. По этим причинам, вследствие усердных подачек усердных молебщиков, тетушка Степаши скопила себе небольшой достаток и жила очень безбедно и независимо. Вот и взяли сироту Подметкина на воспитание. С этого дня Степан не видал более своего родителя, потому что, через год, неизвестно за что, он был сослан на поселение в отдаленную губернию..

Набожная тетка от полноты сердца приложила старание в воспитании своего племянника. Вот, бывало, они занимаются уроками и беседуют так:

— Степаша!

— Что ты, тетынька?

— Выучил заучку?

— Выучил, да плохо.

— Возьми азбуку, почитай, а я послушаю.

Рваная славянская азбука, с искаженным и изуродованным текстом, появляется на столе. Степан, начиная тыкать узорчатой указкой в каждое слово, нараспев гнусит:

— Оксия, исо, вария, камора, краткая, звательцо, титло, кавыка, ерок (с горохом пирог), — спешит добавить Степаша про себя, в утешение, что он знает заучку твердо.

— Э, Степаша, — замечает тетка, — кажись, ты читаешь-то не так?

— Так, тетынька, ей господи так, — отвечает двенадцатилетний ученик.

— Ну-ка, прочти „аз-ангел-ангельский“.

— Аз андиль-андильски, апостол-постольский, буки...

— Стой, злодей ты беспутный! — кричит рассерженная тетка, — не так...

— Так, тетынька...

— Врешь, олух!..

— Е-е-ей...

— Т-с, нишкни, остолоп! Вот я тебе сейчас задам выпорку.

— Степаша начинает рюмить. Тетка была неумолима. Она отправлялась в сени, приносила оттуда веник и, выдернув десятка полтора прутьев, приказывала племяннику ложиться на скамейку. Племянник покорно повиновался воле своей учительницы: он привык к таким вещам. Тетка привязывала ноги Степаше к скамье, потом спину под самые мышцы, потом уладив все это так, как ей хотелось, она отсчитывала племяннику удар за ударом, с некоторыми расстановками и с разного рода назидательными поучениями. Степаша горланил во всю силу своих легких. Испестрив довольно порядочно наказуемое место, даже несколько до крови, учительница отвязывала битого ученика и спрашивала:

— Ну что, хорошо я тебя? Будешь лениться?

Степаша молчал и приводил в порядок свой костюм.

— Ух, измучил же ты меня, изверг рода христианского!

Отдохнув несколько от трудной работы, тетушка опять обращалась к Степаше, но уже с другими словами, и говорила другим голосом:

— Не хошь ли, Степашенька, вареньица?

— Хочу, тетынька, — отвечал племянник самым пискливым и плаксивым голосом.

— Больно я тебя?

— Больно, сесть нельзя...

Тетка начинала ласкать Степашу.

— Ну, ничего голубчик, до свадьбы заживет. Сам виноват — не слушаешься, из повиновенья выходишь... Не хочешь ли кисленького молочка?

— Хочу, тетынька.

— Ну, а сметанки?

— И сметанки хочу.

— А яблочков моченых?

— Хочется тетынька.

— Голубчик ты мой! — заключила тронутая невинно-

стью племянника тетка, и заключила Степашу в свои родственные объятия.

Потом начинала пичкать Степашу, и водворялась между ними прежняя дружба — дня на два, на три, много на неделю. Потом опять все принимало, то очень будничны́й вид, то слишком праздничны́й.

Надо сказать читателю, что Степаша был весьма туп на ученье: он был большой мастер на одно — лазить по крышам, разорять птичьи гнезда, разбивать носы своим товарищам, отрезывать кисти у саней извозчиков, воровать у торговок с лотков яблоки, дули, орехи и пряники — все, что попадется под руку, и, в заключение, был большой мастер и умел самым тонким и искусным образом опустошать погреб своей тетушки, где хранился большой запас разных лакомых подачек.

Жизнь тетки и племянника текла мирно, тихо и ровно.

Да и не могло быть иначе. Тетушка отправляла по своей моленной возложенные на нее должности аккуратно и ревностно. В числе прихожан были весьма зажиточные люди. Эти помогали ей деньгами и съестным, бедные тоже не отставали от своей обязанности; кто приносил ей калачей, говядины, яиц, масла; кто — муки, пшена, меду и прочего. Но главный доход тетушки составляла так называемая „тайная милостина“.

Таким образом жизнь этих двух существ была обеспечена. Они не думали о дне грядущем, они не трепетали, их не била лихорадка при мысли, что завтра они будут натошак, не евши в обед, не евши в ужин. Нет, они жили не так, а по своему.

Вот на дворе стоит зима; мороз свыше 25°; нельзя показать носу; метель.

Холодно, страшно холодно, а тетушке ничего, у тетушки келья отлично проконопачена — мороз не войдет. Вьюга на дворе, порывистый ветер с ног срезывает, ничего: у тетушки окна прекрасно и крепко устроены, вьюшки у труб отлично прилажены, с приправою новеньких кошолок — ветер не ворвется, а тепло не уйдет, а если

и ворвется,—у тетушки есть „подтопок“—род маленькой голландской печки: тетушка положит дров поленьев с десяток — и тепло возвращено, даже с избытком. В другом месте от голоду и тоски проклинают день своего рождения, а у тетушки статья другая: тетушка отправляется в подполье, устроенное тут же, внутри кельи, вытаскивает разного соленья и варенья, и разных груздочков, и вишни залитой, разложит все это добро, чисто и красиво на маленькие тарелочки и все это скушает со Степашей. Мороз и вьюга злятся больше и больше. Да какая надобность? Тетушка отправляется на печку — там послан мягкий войлок из шленской шерсти: тетушке тепло, сытно и спокойно. Степаша садится в головах у тетушки с азбукой, которую, по мнению тетушки, он должен читать про себя, а на самом деле, прилежный ученик только на азбуку смотрит; мысли же его гуляют далеко, далеко, по лоткам торговки и безданным, беспощадно лакомятся пряниками и орехами.

И вот, по временам, между тетушкой и племянником начинается разговор. Первый начинает племянник:

— А что, тетенька,—разражается вдруг неожиданно Степаша, продолжая тыкать указкой в несчастную азбуку, — скоро будет света-представление?

Ученик попадал на любимую тему тетки, тетка его только и знала, что, в свободное от дел время, проповедывала о света-представлении. Лежа на печке, она оборачивала к племяннику голову и решительным тоном отвечала.

— Скоро, голубчик мой, скоро...

— А как скоро?—перерывал любопытный ученик.

— Скоро.

— А! — мычал протяжно Степаша. — Значит, скоро?

— Да, мой голубчик, скоро... Эх, Степашенька, не знайся ты Христа ради с щепотниками! Погубишь ты, голубчик, сам себя: попадешь ты скорехонько к сатане на колени.

Мальчик торопливо свертывал азбуку и с напуганным

воображением жался к тетке ближе и ближе. Степаша сидел на толкучем рынке картинку, как люди, подвешенные над огнем за ребра, за язык, за ноги, висели и болтались в различных направлениях: он вспомнил эту картинку и — струсил. Пугливое его воображение разыгрывалось все больше и больше. Степаша, завалясь за спину тетки, с закрытыми глазами и робким голосом спрашивал:

— Коли же скоро-то?

— Да уж скоро будет, — отзывалась с убеждением раскольница.

— А куда же я денусь-то? — спрашивал мальчик.

— Будешь себя хорошо вести, так попадешь в хорошее место.

— А куда денется Митька Катаев?

— Твой приятель-то! Ах, Степашенька, этому мошеннику не сдобровать. Да, голубчик, видишь ли какой он сквалыжник: ему только шестнадцать лет, а уж отец поручил ему торговлишку — продавать овчины. Материно молоко на губах не обсохло, а торговец...

— И мне бы торговать тетынька? — прерывал вопросительно Степаша.

— Куда тебе, голубчик, — замечала с состраданием тетка, — ты еще ребенок. А торговое дело такое: — надо сидеть по городам да по селам, продавать и покупать. Нет, голубчик, тебе надо погодить годиков шесть. Вот Митька Катаев совсем не то, в одно ухо влезет, а в другое вылезет; взрослого за пояс заткнет! Ох, не сдобровать ему: Митьку на том свете повесят за ноги, а башкой воткнут в горячую смолу! Ты рассуди, Степашенька, сам: ну, пригожее ли это дело — продавать тулупникам мерлину.

— Какую эфто, тетынька?

— А вот такую, голубчик, что стоит плюнуть Митьке Катаеву в рыло — вот как! Околеет овца, а они с нее шкуру долой, да и в продажу тулупникам. А иные тулупники-то, какую ромоду смыслют, прости господи!

Покупают знай, да покупают. Митьке ничего: он руками к ней не притрогивается—ему татары обрабатывают; ну, а тем-то, тулупникам-то, и плоховато приходится, ну, люди такие на них появляются—инда страсть сказать! Лишаи, чирьи разные, губы гниют; а у нашего у родича даже нос отвалился прочь—вот ведь какие дела-то!

Степаша начинал дремать. Тетушка, подстрекаемая безобразностью своего родственника, начинала ворчать.

— Поделом дураку и мука! Не покупай мерлину у Митьки Катаева, не носи тулупа из паршивых овчин. Поделом! Да приди только ко мне, урод, в три шен провожу, и чтоб дух не пах! Осрамит только мою келью сиротскую...

Степаша заснул было; но от последнего энергического возгласа разговорившейся тетушки проснулся.

— Что ты, тетынька?

— Слышишь? Не знайся с Митькой Катаевым: он у тебя нос исхитит, слышишь?

Степаша пощупал себя за нос и, удостоверившись, что нос цел, опять начал дремать. Однако тетушка разохотилась говорить.

— Чувствуешь, Степашенька?

— Чувствую, тетынька.

— То-то же, голубчик, послушайся меня, не знайся с Митькой, проку не будет. Негодный он человек: придерживается молоканщины, знай только лопают молоко по средам и пятницам, ни одного образа в доме нет, ни одного таки и нет—нехристы! Наплевать на него, Степашенька, пострелом его положь, скверного человека. Плюнь Степашенька.

Степаша послушался.

— Вот так, умник ты мой. Теперь сотвори молитву.

Степаша еще раз послушался. Тетушка замолчала и придумала немного отдохнуть.

— Ну, а тот, — заговорил Степаша, — как бишь его—Левонтий Гладков? Еще Зайцев? Еще Змеицын?

— О-о-хо-хо, Степаша, ты думаешь, что это хоро

иные люди? Дрянной народишка, просто сказать, копейки не стоят, и мошенник на мошеннике, вор на воре: их ни на том свете, а на этом надо повесить — на том свете то им уж не будет ни дна, ни покрывки. Живопроданы! Вот их припекут на том свете. Гладкова сварили в кипучей смоле, а Зайцева и Змеидына запарят живыми вениками. Поделом им и мука! Таковские и были... Плюнь, Степашенька.

Степашенька повиновался. Тетка продолжала.

— Это, Степашенька, все еще ничего: это мошенники и веры маленькие, а вот в нашем городе есть большие воры, ну, так уж тем и на том свете места не будет!

— Какие эфто, тетьнышка?

— Какие? Воры из хорошего роду, купечество именитое.

— А! — промычал Степаша.

— Да, голубчик, купечество. Да вот не далеко идти, сходи только на мушной базар, спроси там Андрея Стобитова, второй гильдии купца, всякой тебе его укажут, да ты и сам заметишь: рыжий, красный, такой...

— Схожу, тетьнышка.

— Ист, голубчик, не надо, пес с ним! Это я так к слову сказала, а ты лучше лежи да слушай. Ну, вот, этот Андрюшка, допрежь сево, был такой же мужик, как и ты, Степаша: ты-то хоть мальчик честный, а тот был вор, грабитель и зажигатель... Господи, как это им приходит! Ну, вот, бывало, он крендели продавал на Перхнем базаре; бывало, кричат ему: — „Андрюха! эфто пятак заслужить?“ — „Хочу“. — „Давай, за волосы оттилкаем?“ — Да много ли раз? — „До четырех,“ — скажут. — „Нет, до двух!“ — „Ну, ладно“. — Тут Андрюшка ложится на землю, двое каких-нибудь соберут на его голову волосы так, чтобы ловчее было, и потащут от именинного кабачка до кузниц и назад, шагов двести будет: это у них называется два раза. Наскучило, видно Андрюшке такое промышление: голове больно, а доходу мало. Вот он и задумал карманничать: отправляется на

Пеший базар; долго ли, коротко ли он так воровал, только его изловили с поличным, да и прямо в часть. Улика налицо, — сто с лишком рублей украл, запирайтесь нельзя. Почали его судить, и начальники присудили дать ему двадцать плетей и потом отпустить на выпуск домой. Так и было. Спина у Андрюшки зажила и он опять принялся за делишки, только за другие. Ему по сотенкам-то воровать было невыгодно, — денег мало, и бьют много. Вот он и придумал штуку: ходить по наймам в кучерах: парень видный, красивый, сильный; всякому лестно иметь такого кучера. Вот все богатые-то и городе его нарасхват, тот зовет к себе, другой к себе. Пошел ходить Андрюшка по добрым людям, а сам высматривает да высматривает. Ну, и начал он с того, что свел знакомство с лакеем того барина, где жил в кучерах сам. Андрюшка — плут, лакей — простофиля, барин богатый и семейный. Слово за слово, подружился: сегодня в харчевне чайку напьются, завтра пивца, там и винца, и порешили так: Андрюшка зажжет сенник, а за час допрежь сего лакей уговорился украсть шкатулку у барина, лакей шкатулку украл и передал Андрюшкиной приятельнице, та стреканула, и с семи кобелями не сыщешь. Андрюшка запалил, и пошла писать: ах, да ах, да ох! Суматоха, крик: целый квартал выхватило! А в шкатулке-то немало-немного, сто тысяч рублей. Спустя месяц, лакей и Андрюшка разделили их поровну и припилились, лакей перестал пить и винцо. Знамо дело, Андрюшку и лакея на другой день после пожара приструнили, задали даже и розгачей для страха, да порешили тем, что продержали под караулом две недели и прогнали. Сам и барин не имел на них подозрения; звал их опять к себе жить, да они еще на него сами обиделись: „дескать, нас выдрали, сударь, за вас, здорово живешь“. Тем и покончилось. Не знаю, где был Андрюшка после, только я его, немного спустя лет, видела в нашей мещанской каморе. Вишь-де, он приписался в мещане, и общество выбрало его старостой. Я

тан и лхнула, хотела закричать: какой это староста? Это Андрюшка Стобитов, вор и грабитель! Да подумала: — неладно, засудят, так и промолчала. Посмотрела ты на него теперь, Степашенька, теперь его и рукой не достанешь: миллионщик, торгует крупчаткой, пять водяных мельниц, дом хороший, под домом лавки с ручкой. А из мошенников вышел в хорошие люди, право слово, из воров! Теперь старичок уж стал...

Степаша наострил уши: казалось, ему эта история очень понравилась. Доселе рассказы тетушки он слушал с простым детским любопытством, теперь он напряг все свое внимание и приготовился ждать последствий рассказа.

Тетушка продолжала.

— На чем бишь я остановилась? Да, старичок стал, стал купец второй гильдии; только, говорят, почету-то ему мало. И наемдни, наш степенный голова на сходу, при всем купечестве, так вот его и оконфузил: дескать, зачем вы, почтенные, наказанного-то принимаете? Дескать, его в полиции стегали — так, вот, право слово, и лишил. А он, голубчик, ни словечушка, взял шапку и был таков. Ну, да я чаю, ему наплевать на обесчещенные-то дела: ему же больше покою, сидит себе дома, ест сладко, спит на бархате, да от скуки червончики считает... Ты спишь, Степаша?

— Нету, тетька.

— Что бишь еще я хотела сказать? Дай бог память... Да, одну притчу на счет того, как Андрей Стобитов дочь замуж выдавал. Вот, мой голубчик Степашенька, пришла нехорошая молва про Андрея Стобитова, да такая, что твои барабаны бьют, а в тупору, как на зло ему, и дочь подросла, невеста, двадцатый годок пошел, да еще годок, да еще — знашь ты, все время-то и идет себе незаметно. А дочку-то выдать хочется. Уж он и так и сяк, и эдак, и вот эдак, и посулы хорошие обещал — тут-то было! Хоть тресни, а в девках изволь оставаться. Меж тем, девка-то ждала себе ждала, да и рукой

махнула. В те поры, у Андрея Стобитова, был по наймам приказчик, Трофимом, кажется, звали, по отчеству, помнится, Федотыч, кликали; а прозвище то его я уж и позабыла. Ну, так и быть, пусть останется без прозвища—персона-то невеликая. Вот как Трофим-то приказчик празничал хорошенько своего хозяина, да и дочь-то распознал, да и молву-то слышал нехорошую,—ну и намотал себе на ус. Вестимо, парень молодой, проворный, ростом только господь обидел, и наградил толщиной,—познакомились. Долго ли, коротко ли они там разводили калину с малиной, только отец и узнал, что дочка, значит, на взноστήях. Ай, батюшки! Расшумелся Андрей Стобитов, волосы на себе рвет, в зубы себя бьет, по щекам себя валяет, а легче нет—не знает, кто виновник. И дивное диво: дочь никуда не ходила, а грех случился. Старик просто с ума сходит, половину уж бороды со злости у себя вырвал. „Трофимкино дело!—завопил он благим матом: я дескать его допеку. К фартальному дескать пойду жалобиться, к министру!“ Покричал, покричал, да на том и съехал. Успокоился опосле, позвал Трофима приказчика, да и стал смиренянько держать с ним разговор: „Признайся, дескать, Трошка, ты виноват передо мной?“ „Лопни мои глаза и утроба, хозяин, знать ничего не знаю“. „А на счет дескать Танюши?“ „Разрази, порази, расстрели!—божился приказчик: знать ничего не знаю.“ Говорит: „признай, Трошз, замуж за тебя отдам.“ „Вы меня, дескать, хозяин, обижаете, всякую напраслину на меня взводите—по лавке все состоит у меня чисто и смирно, хоть извольте поверить.“ Думает Андрей Стобитов: „ну, дескать, этот мошенник почище меня“; и вслух говорит: „признайся, Троша, ей-богу, замуж за тебя отдам, наследником тебя сделаю, все за тобой укрепляю“. Трофим говорит: „хозяин, коли милость ваша будет, так вы уж так отдайте за меня вашу-то дочку, не притесняйте меня сироту безвинно—я с нашим великим удовольствием готов их взять, Татьяну-то Андреевну, а еще пойдут ли они сами-то за

меня?" Хозяин посмотрел на приказчика, помотал головою и сказал: „Слушай, нас двое, подслушать нас некому: она призналась мне, а ты что же, подлец, запираешься?" Приказчик говорит: „Коли изволили признаться, позовите их сюда, при мне спросите". Позвали дочку. „Ты виновата ведь передо мной, Танюша?" „Я вам давня сказала, тятинька, что виновата". Хозяин заревел. „Ну, слышишь, мошенник? — виновата, дескать. А ты что же отнекиваешься?" Приказчик тихонько шепчет. „В чем же они виноваты, мы не можем знать". Хозяин говорит ласково: „скажи, Таня, в чем виновата". Дочка Таня пищит: „Ведь с вами я, Трофим Федотыч..." И заплакала горько. Приказчик подумал: „Дурища! Ничего не видя призналась — значит сметки не знает. Да из меня хоть все жилы тни... дура! Коли-б не богата, так я бы на тебя наплевал только!" Хозяин сказал: „Ступай к себе, Татьяна." Татьяна пошла тихонько. А хозяин опять сказал сердито таково: „Что, мошенник, ты все будешь запираешься? Слышал? Что скажешь?" Приказчик промолвил: „Хозяин, если вам очень желательно отдать за меня вашу дочку, я с нашим удовольствием, — только насчет приданова, и насчет денежной суммы позвольте узнать?.." Хозяин завопил что есть голосу: „Мне желательно тебя шарамыгу в тюрьму упрятать, в каторгу отослать! Шаверень паршивая, мешанишка мерзкой! Я кто? Купец второй гильдии, а не нонче, так завтра буду первой гильдии! Смеешь приданое запрашивать?" Тут хозяин стал дрожать и задыхаться. Приказчик тихонько проговорил: „Вы, хозяин, напрасно изволите обижаться — всякий жених волен спросить приданое..." Хозяин перебивает: „Нет, Трофим, ты меня задумал обижать. Так приданое не спрашивают — с кривляниями да ломаниями, — приданое спрашивают ласково. Я старый воробей — меня не проведешь. Ты думаешь, сколько я дам за ней деньгами?" Приказчик говорит: „Сколько вам будет угодно, и мне чтоб не было обидно". Хозяин настаивал: „Признайся, Трофим, сколько

тебе желательно? А не хочешь признаться, так я сам за тебя скажу? Сказать? — тебе хочется взять весь мой капитал!" Приказчик отвечал: „Это точно, что мне точно хочется иметь у себя ваш капитал“. „Вот видишь, я и узнал. Капитал—твой и дочь моя—твоя; чур ее любить. А до свадьбы тебе надо записаться в купцы—хоть в астраханские. Поезжай с богом. А я пока до тебя к свадьбе все устрою и приготовлю“. Приказчик кланяется хозяину в ноги, целует ему руки и говорит: „По гроб моей жизни не забуду вашей отеческой милости; денно и ночно буду, говорит, молиться за вас богу, чтоб вы были живы и здоровы, и...“ Много таково он говорил. А через полтора месяца была у них свадьба. Не даром говорится пословица: „Рыбак рыбака видит издалека“. Ну, хорошо, рыбаки оба — и тесть и зять! Господи прости мое великое согрешение... Степаша? Ты спишь, голубчик?

Степеша не отвечал. Он в самом начале рассказа о свадьбе заснул крепким сном. Этот рассказ не так показался ему занимательным, как рассказ о воровстве и зажигательстве Андрея Стобитова. Тетушка еще раз окликнула Степашу и, еще раз удостоверившись, что он спит, глядя на него, сама захотела уснуть.

— Согрешила я нониче грешница, согрешила окаянная, согрешила многогрешная, согрешила недостойная...

Эти слова тетушка твердила до тех пор, пока сон взял перевес над ее телом.

В то время, когда Степан Подметкин был мальчиком, между простым народом существовали всевозможные расколы и ереси. В городе Веселом, где Степаша с тетушкой имели свое счастливое местопребывание, было три главных секты, кроме нескольких других мелких. У каждой общины раскольников были моленные или часовни. Основателями этих часовен были довольно зажиточные купцы, и всякий из них, посредством денег

старался привлечь в свою секту поборников из других мест.

Купец Кабанов был беднее других купцов в городе Веселом. По таким причинам и часовня его не слазилась прихожанами. Часовня эта—была посредственной величины деревянная изба, выстроенная на обширном дворе, огороженном крепкими деревянными заборами. Теперь на этом месте пустырь, и только одни полусгнившие столбы заборов свидетельствуют, что некогда, во время оно, тут жили люди, и было между ними много кое-каких человеческих делишек. Обширный двор часовни, в два ряда кругом был установлен кельями, построенными под один фасад. В этих-то кельях, в тишине и покое, проживало десятков шесть стариков и старух, почти уже выживших из ума. Эти почтенные люди учили грамоте детей, детей таких же раскольников. Бывало, идешь и издалека слышишь, как дети все разом нараспев твердят свои уроки. Образование этих истинных созданий, из которых, при другом направлении, вышло бы что-нибудь порядочное, ограничивалось азбукой, псалтирью и часословом.

На этом-то дворе, в числе прочих, стояла в углу у избы и келья тетюшки Степана Подметкина.

Когда родился будущий городской голова Степан Подметкин, город Веселый был мало населен; полиция находилась в совершенном младенчестве: от того-то тут и плодились всевозможные расколы. Кругом Веселого—степь, к востоку — кочуют киргизы, к югу-востоку — калмыки, тут татары, а там хотя и русские-православные, но они сквозь пальцы смотрели на своих земляков-раскольников, а иногда, в случае нужды, и сами переходили к ним же.

Таким-то образом, в городе Веселом, кроме городских молелен, основались еще два скита за городом: один в Мячевом буераке, другой в Баранниковом. Оба скита находились в ущельях, в лесу: молись, как хочешь, никто не помешает. А между тем, в этих ски-

тах часто происходили сцены совсем нерелигиозные, потому что там проживали не старики и старухи, а люди, находящиеся в лучшей поре силы и здоровые. Эти богомольцы решительно ничем не занимались; днем они большею частью или спали, или читали старинные книги, особенно когда приходил кто-нибудь из города, из касты их собратий, или из другого скита. Эти люди, несмотря на то, что были довольно румяны, постоянно жаловались на нездоровье, охали, стонали и наводили друг на друга невольную тоску и уныние; а чтоб тоска и уныние не усилились, раскольники старались развлекать себя водкой; по их уставу, употребление вина и елея разрешалось очень часто. И вот рюмочка по рюмочке — и затворники напивались довольно изрядно. Тут являлись и молодые женщины, жены не жены, а так, что-то вроде того, которые были выпить не прочь; словом, тут начиналась порядочная попойка. В одном углу слышались шумные разговоры об антихристе, в другом — уверение в любви и дружбе, в третьем виднелось кивание ногами о стол, в четвертом попевались песенки, в роде таких:

„Из-за Волги кума
В решете приплыла,
Веретенами гребла,
Юбкой парусила“.

или:

„Научить ли те, Ванюша,
Как ко мне ходить“ и пр.

или:

„Шла девочка маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая, —
Сама чернобровая“.

Ночью эти люди занимались уже другими делами, иногда только им одним известными, а иногда несколько

раденными и для городских властей. А потом опять все шло своей чередой, по-старому, тихо и глухо¹.

В те поры прославились своими смелыми подвигами некто Бритвин и Монин: первый был разбойник, головорез — один ограбил три почты, разумеется, в разное время, убил трех почталионов и трех ямщиков; а второй, то есть Монин, был делатель фальшивой монеты. Оба эти удалые головы, постоянно по-приятельски, обшаривались в Мячевом и Баранниковом буераках. У Монины в Мячевом была даже мастерская, где он, с помощью преданных ему восьми товарищей, производил свою фабрикацию: тут чеканились оловянные талеры, целковые и полтинники; тут делались ассигнации, начиная от беленьких (сто и пятидесяти-рублевых) и нисходя до красненьких и синеньких (десяти и пяти-рублевых). Монин был так искусен в своем ремесле, что, кроме фальшивых денег, делал гербовую бумагу и вексельные бланки. Понажились тогда некоторые люди от Монины, а всех больше понажился Степан Степаныч Подметкин, потому что он был Монину лучшим другом и наकाдычным приятелем, знал все его тайные углы и закоулки, менял ему фальшивые деньги на настоящие, рискуя за такие подвиги разделаться своею спиною и свободою.

Они познакомились довольно странным образом.

Степану Подметкину исполнилось двадцать пять лет. Он уже успел жениться, успел нажить маленький домишко; у него уже было четверо детей: два сына и две дочери. Подметкин давно бросил свою тетку, обворовав ее самым гнусным образом; давно бросил и келью, в

¹ В Мячевом и Баранниковом буераках издавна были старообрядческие скиты (до ста келий в каждом). Н. Г. Чернышевский в своей „Автобиографии“ вспоминает про поездку в Баранников буерак: „Там был раскольничий скит; к скиту присоединились какие-то мошеники, чуть ли не делатели фальшивой монеты; их открыли, порохватили или рассеяли“.

которой так невинно воспитывался, и стариков и старух, которые так непорочно руководили его для житейского поприща и житейской мудрости. Он нашел выгодным перейти в другую секту, под заглавием поповскую, поборником которой уже был до конца своей многотрудной жизни, хотя наружно, в некоторых случаях, исповедывал религию православную. Степан Подметкин сделался человеком положительным, основательным, постоянным и, главное, коммерческим. Он уже успел нажить себе лавчонку, в которой, в малом количестве, продавались мука, крупа и овес.

Однажды, в жаркий июньский день, в самый полдень, Степан Подметкин сидел в своей лавочке. На улицах народу никого не было; все сидели по домам, в холодке. В смежных лавочках и приказчики и хозяева — кто спал, кто дремал, зная, что покупателей в такую пору не будет. Степан Подметкин купил себе квасу, луку и соленой рыбы, покушал во здравие, то есть съел три довольно порядочных чашки и принялся дремать. Вот сидел он эдак с полчаса, наконец встал и начал ходить по лавочке по всем ее направлениям. Он был на этот раз, против обыкновения, задумчив, вял и несколько расстроен. Казалось, какая-то необыкновенная новая мысль засела ему в голову и тревожила воображение. Он ходил долго, потом сел на складные деревянные кресла и вновь принялся думать думу.

— Тьфу ты, пропасть! — прошептал он, наконец, теряя терпение, — так вот и ноет сердце, что инды могуту моей нет. К чему это? Если Лукерья умрет, на то воля божья; а жениться в другой раз не стану. Если из детей кто умрет, на то воля божья. Если дом сгорит... Кажется, этого удару не перенесу, — сам умру, протянусь без покаяния! Если... Да говорят, сердце ноет к радости? Дай-то господи!

Степан Подметкин опять зашагал по лавочке. Потом машинально вынул из-за пазухи засаленный бумажник и стал повертывать его в руках:

— Вот только всего и житья-бытья!—продолжал он говорить сам с собою, — полторы только тысячки! Господи, господи! Скоро ли я поправляюсь? На людей помотришь, любо-дорого: кто имеет сто, двести, пятьсот тысяч... Почет-то, почет какой! А я-то? Голь несчастная; всякой может назвать сволочью... Святители вы мои!.. Эх, господи, еслиб мне довелось нажить полтораста тысяч, да не худо бы серебрецом... Кажется, ничего не пожалел бы, рискнул бы так и быть, во что ни стадох... Зато под старость будет хорошо и спокойно. А хваст, добавил он, осмотрев кругом лавочку: что здесь? „Суета сует и всяческая суета“. Дрянь все, дрянь. В анюшке ничего не высидишь, как тут ни сиди, хоть башкой тыкайся в стену, а прибыли большой не будет.

Подметкин развернул бумажник и начал рассматривать ассигнации. Лицо его опять нахмурилось, когда он отложил в сторону одну сторублевую ассигнацию и подложил ее к себе на колени.

— Вот эта штука очень меня мучает, — заговорил опять сам с собою Подметкин: — добро бы глаз-то что-ль у меня не было, али тово... пес знает, что это за притча такая случилась со мной! Уж видно быть такому греху. А славно сработана, пострелом ее положь, очень хорошо. Видно, что была в руках мастера, молодец, право! Желательно посмотреть, что за человек, видно, что умница. Уж если бы не жаль было убытков, шут ее знает, сойдет благополучно или нет, расцеловал бы злодея, угостил бы на половину. Вот так руки и чешутся, так и хочется самому сработать такую же...

Последние слова Степан Подметкин, от избытка чувств, произнес довольно громко и вдруг прикусил язык. Перед ним стоял незнакомый ему человек, лет тридцати пяти, среднего роста и довольно сильного сложения. Незнакомец стоял молча, слегка улыбался и внимательно рассматривал физиономию Подметкина. Степан Подметкин торопливо и дрожащими руками старался припрятать деньги. Заметив это движение, незнакомец сказал.

— Не трудись хлопотать, Степан Степаныч, и не бойся: твоих денег я не возьму, не надо, у меня своих достаточно.

— Как же это ты меня знаешь? — спросил удивленный и озадаченный Подметкин.

— Просто знаю, знаю потому, что ты мне нужен, — сказал отрывисто незнакомец, не переставая, между тем, смотреть на Подметкина долгим испытующим взглядом, — я давно за тобой слежу, знаю, чем и как ты живешь, куда ходишь и что делаешь; что у тебя в доме есть, все знаю.

Подметкин несколько смутился и опустил глаза в землю. Незнакомец продолжал.

— Что, почтенный Степан Степаныч, как твоя фальшивая ассигнация? А ведь славно сделана? Ты, я вот подслушал, хотел поцеловать мастера. Скажи, по совести, рад ли ты был, еслиб ты его увидел перед собою?

Подметкин побледнел. Незнакомец продолжал глядеть на него долгим-долгим взглядом и продолжал говорить тихим и ровным голосом.

— Ну, как же, Степан Степаныч, хочешь видеть мастера, который сварганил твою ассигнацию? Не бойся друг, он человек простой, вреда тебе не будет, я пожалуй тебя с ним познакомлю. Желаете познакомиться?

Подметкин не отвечал.

— Кажется, я тоже давеча слышал, продолжал неизвестный человек, — что у тебя было желание сделать самому такую же ассигнацию. Ведь правда? Пожалуй, выучиться можно.

От последних слов, сказанных незнакомцем, Степан Подметкин выскочил на улицу. Он боязливо посмотрел по всем сторонам и, видя, что никого по близости нет, робкими шагами воротился в лавочку.

— Ты опасаться, что нас подслушают? — спросил незнакомец, — ну, нет, брат, стара штука, я ведь травленный волк, вижу охотников далеко. Не бойся и слушай, я тебе скажу, господин сударь Подметкин, ласы да

балясы нам точить зря нечего, надо заниматься делом. Говори, любезный: хочешь познакомиться с мастером?

На последнем слове незнакомец сделал резкое ударение. Подметкин вздрогнул всем телом.

— Я не знаю, что и сказать тебе, — проговорил Степан Степаныч нерешительным и застенчивым тоном.

— Как, любезный разве ты себя не знаешь? Не может быть, ты просто трусишь. Не робь, говорю тебе, я к тебе никем не подослан, я пришел сам, по своей воле. Не знаю! Гм... мальчишке можно так говорить, а у тебя борода-то, слава богу, порядком выросла. Не знаю! Чего тут знать? Хочешь—да, не хочешь—нет: тебе не будет хуже. В этой лавчонке ничего, брат, не наживешь; так и будешь сволочь-сволочью, никто не будет иметь к тебе никакого почтения, так все и будут называть тебя Степашкой, так доживешь до седых волос. Нет, приятель, там у нас будет прибыльнее: вот ты, Степан Степаныч, недавно поддел клещевского крестьянина: за три воза муки не заплатил, как следует, денег, да еще у него же у пьяного вынул из кармана двести рублей. Да вот еще, на прошлой неделе, помнишь, на Пешем базаре, ты отрезал кошелек с деньгами у какого-то бедного бурлака, сам это я видел, сам, а бурлак-то, говорят, от горя утопился. Помнишь? Припомни-ка, хорошенько.

Степан Подметкин внутренне сотворил молитву. Он был суеверен и подумал, что это дьявол стоит перед ним, который без запинки высказывает ему правду-матку, который читает в его душе, что только известно одному ему, Степану Степанычу. Подметкин прочитал несколько молитв,—незнакомец не проваливался сквозь землю. Степан Подметкин сильно струсил и, чуть слышным, робким голосом спросил:

— Как же ты знаешь, что я надул клещевского крестьянина?

Незнакомец засмеялся.

— Узнай, отгадай, — сказал он.

Подметкин отрицательно покачал головой.

— Не желаешь отгадывать, — проговорил незнакомец, взяв Подметкина за руку, — так я сам тебе скажу. Вот видишь ли, одному человеку ты понадобился, стал нужен, вот он и послал за тобой следить. За тобой следили и теперь следят, узнали, что ты — мужик с толком и в тебе будет прок; испытывали и видели твою ловкость на деле. Славный ты малый оказался — тонкий плут, из воды выдешь сух, из огня невредим. По рукам, что ли? Я тебя познакомлю с мастером!

— Я не з-н-а-а-ю...

— Э, братище, — перебил с нетерпением незнакомец, — я не полицейский, меня бояться нечего. Чего тут не знать? Ведь ты хочешь нажить капитал, да еще как можно скорее? Наживешь. Будешь жить в больших каменных хоромах. В два года так наживешься, что иной в сорок лет того не получит.

Подметкин подумал, подумал, и потом твердым и решительным голосом сказал:

— Ладно, быть так.

Степан Степаныч подал незнакомцу руку. Незнакомец потряс руку Подметкина и в свою очередь сказал.

— Быть так: ты мой!

Чувство корысти и сребролюбия было преобладающее чувство в натуре Подметкина. Он не спрашивал незнакомца, с какою целью и для чего он хочет познакомить его с мастером: жадность к деньгам все в нем заглушила, он решился на всякую крайность, на все, чего бы от него ни потребовали.

Новые друзья уговорились видаться в этот же день, в полночь, за городом, в глухом месте. В назначенный час Степан Подметкин явился, как и следует аккуратному человеку.

Ночь была темная, и на небе нависали тучи; однако, в воздухе было тихо и тепло. Подметкин сел на траву; ждет час, ждет два — никого нет.

— Пес возьми! — думал Степан Степаныч. — Уж не в ловушку ли меня заманили? Чего доброго! Оберут, как

липку, да еще порядком бока намнут. Оберут — жаль чуйки и жилетки, а бока, пусть мнут, — заживут, лишь бы не убили. Нынче таки довольно стали пошаливать, а все от того, что водка вздорожала... Ну, шутка ли, гривенник за шкалик! Да это страсть! Порядочному пьянице, в прогулку, надо в день плохо плохо десять шкаликов — ну! Вот и целковый вон из кармана. Выпить хочется, а денег нет: надо украсть поневоле, а не украдешь, так придется ограбить. Не знай, чего это смотрят старшие в Питере. Просто откупщики бога не боятся, хуже не знай кого, прости господи! Разорили они в разор моих землячков! Люди рабочие, Волга близко, осенью по пояс в воде, после работы следует косушечку выпить; он: пожалуйста двугривенный, да с косушки-то и толку мало — вода водой. А доходу-то только три гривенничка, а иногда четыре в день, больше и не жди. Значит, на водку идет больше половины. Эх, грешно этим откупщикам! Хоть бы водку то продавали путную... По моему, лучше мошенничать другим образом, тогда обманешь только десять, ну, тридцать, ну, двести человек, а не миллион человек, да каких? Нищих!! Слава богу, что я перестал пить. Бывало, напьешься на целковый, а целых три дня опохмеляешься, смотришь, как не вертись, пяти целковых нет, такая мерзкая была утроба, и все ведь на одной сивухе выезжала... Тьфу, будь вы прокляты!... Вот когда сделаюсь городским головой, так я им задам продавать по гривеннику шкалик! Я и в Питер брякну... Да что, нельзя. Того начальника надо уважить, другого не обидеть. „Пожалуйте, дескать, Степан Степаныч, шампанское кушать, обедать с нами, да какой еще человек-то скажет?! Перед которым я — пакость, мокрица. Нельзя! Извольте, скажешь, ваше благородие, ваше высокородие, в отношении вина делать, как вам угодно. А из угождения еще подскажешь: — не угодно ли, мол, по трешничку на шкалик прибавить, будет неприметно-с. Право, так сам язык и скажет... Однако, мой новый знакомый призвал меня сюда, а сам не идет? Кажись, этот человек не похож

на вора... Эх, боже, боже! Куда бы хорошо нажить сто тысяч целковых! В купцы первсй гильдии приписался бы, завел бы сад отличный, стал бы жить честно да богу молиться, часовню отдал бы заново, в монастырь на Иргизе сделал бы богатый вклад — ведь там живут наши...

Размышления Степана Подметкина были прерваны фырканием лошади, и Степан Подметкин быстро вскочил на ноги. Перед ним была телега, запряженная в одну лошадь, и в ней сидел давешний незнакомец.

— Вот спасибо Степану Степанычу! — вскричал весело незнакомец, дружески протягивая Подметкину руку, — не обманул! Давеча ты желал поцеловать мастера? Мастер перед тобой — давай поцелуемся?..

— Да разве это ты?! — воскликнул удивленный Подметкин.

— Вона! А кто-ж другой? — подхватил незнакомец с какой-то молодецкой удалью, — дружище, я сам — я Монин.

Подметкин невольно присел на землю. Монин быстро поднял Подметкина и принялся его обнимать. Наконец, с обеих сторон изливание дружбы истощилось.

Монин спросил.

— Что говорят обо мне в городе, Степан Степаныч, какие ходят слухи?

— Не слишком-то хорошие... Говорят, что ты делаешь деньги, что тебя посадили в тюрьму.

— Деньги я делаю, — это правда; а на счет тюрьмы погодят маленько. Надо сначала поймать на деле, а потом уж посадить.

— Двух менял взяли, — заметил робко Подметкин, — обеих посадили.

— За дело! Не будь дураки. Вишь раскалякались словно на ярмарке: рады, что дешево пришлось! За дело! По их милости полиция десять раз делала у меня обыск. Дурака нашла! Стану я держать... Ха-ха-ха-ха! У меня есть для этого свое место. А еще что слышно?

— Еще ничего. Только много стало в народе появляться ненастоящих денег.

— Говори, прямо, фальшивых, — перебил весело Монин, — приятеля нечего стыдиться. Да, правда твоя, Степан Степаныч. Надо для моего товару найти другое место. Не было все такого человека — теперь есть, нашел его — вот он!

Монин с дружкой и лаской взял Подметкина за руку и привлек к себе.

— Вот что, Степан Степаныч, — сказал Монин тихо, — пужно наделить Макарьевскую ярмонку:¹ слышно, что золота и серебра там слишком уж много, а бумажек — недостатку...

Подметкин только крикнул, но ни слова не сказал Монину.

Тут разговор приятелей на несколько минут прекратился. Монин пригласил Степана Степаныча к себе в гости.

— А где ты живешь? — спросил Подметкин.

Монин сказал ему на ухо несколько слов, и потом они сели и поехали.

Прошло тридцать пять лет. Степан Степаныч был уже не просто Степан Степаныч, а титуловался высокое степенство, веселовский первой гильдии купец, потомственный и почетный гражданин. Да, немалых трудов стоило Подметкину, чтобы добиться такого блестящего титула. В продолжении тридцати пяти лет, много его степенство успел наделать хороших делишек, полезных для собственной персоны. Самым первым долгом он успел нажить вместо желаемых им ста тысяч целковых — полтора ста, успел и постарался предать в руки правосудия своего приятеля Монина, со всеми его сообщниками и инструментами; успел и заставил утопиться на Волге одного частного пристава и успел из этой

¹ Макарьевская ярмарка — Нижегородская ярмарка (с 25 июля), крупнейшая ярмарка в дореволюционной России, на которую съезжались как отечественное, так и иноземное купечество.

кутерьмы выйти чистым и невредимым. Потом года два Степан Степаныч где-то изволил пропадать: надо думать, что он гостил у монахов на Иргизе. Наконец, господин Подмежкин воротился в родной город Веселый. Вот тут-то развернулся его степенство! Он выстроил себе и семейству каменный двухэтажный большой дом, с каменными службами и такими же заборами, развел отличный сад верстах в десяти от города, расширил свою торговлю хлебом до больших размеров, познакомился со знатными купцами и властями города, давал обеды и ужины, словом, жил прекрасно, кормил нужных особ сытно. А между тем, он по своему великодушию не забывал и бедных: в голодный 1833 год его высокостепенство роздал неимущим жителям города Веселого несколько сот четвертей муки, получил за это медаль и благодарность жителей. Конечно, муку он раздавал не свою, а чужую, потому что в хлопотах по хозяйству он не успел заплатить за нее денег хозяину, ну, да все равно: Степан Степаныч сочтется с хозяином после, когда-нибудь, когда будут благоприятные обстоятельства. Аккуратный был человек Степан Степаныч! Нечего сказать: умел заслужить и благоволение начальства, и любовь жителей. Бывало, лишь только выйдешь на Хлебную площадь¹, или на Пеший базар—повсюду в ушах раздаются возгласы: „Подметкин! Подметкин! Степан Степаныч! Ах, какой хороший человек! Вот выбрать бы в городские-то головы! Да ведь сам не захочет! Кто велит служить богатому человеку?“ и прочее и прочее, все говорили в таком тоне. Его давно мучил бесчестолюбия; даже Степан Степаныч ночей иногда не досыпал—все думал да думал... Как бы этак поскорее на самом деле сделаться ему городским головою? Почет-то почетом, да и нажиться можно, на свой пай, порядочно. Часто, во время бессонницы, по ночам, Степан Степаныч изволил в своих апартаментах, для собственного

¹ Хлебная площадь занимала территорию Верхнего базара.

удовольствия, делать репетиции, как он будет голо-
вой, как он будет сидеть за столом в присутствии
думы, между шести гласных и в обществе секретаря.
Для таких невинных целей Степан Степаныч выдвигал
на средину комнаты большой стол, становил на него
вместо зеркала самовар без воды; потом к столу ставил
стулья, по три ряд, с каждой стороны и, наконец, на
одном конце стола, ставил свои президентские кресла.
Потом Степан Степаныч надевал свой длиннополый
шуртук, воображая его форменным кафтаном. Надо тут
к кафтану саблю. Ах, канальство! Сабля-то и нет, саб-
лю-то Степан Степаныч не догадался купить для такого
важного случая. Да впрочем ничего: Подметкин—чело-
век изобретательный. Он отправляется в переднюю,
берет от голландской печки маленькую железную кочергу,
привязывает ее на полотенце и прицепляет к своей талии.

Степан Степаныч останавливается на некоторое время
в дверях залы и размышляет.

— Вот, дескать, я войду в присутствие Думы — де-
лается страшный шум и суматоха: стулья гремят, глас-
ные и секретарь торопливо встают со своих мест и уни-
женно мне кланяются. Очень хорошо, дескать, кланяй-
тесь, я вам не буду кланяться—моя должность не такая,
да и обязанность требует соблюсти приличие в отноше-
нии к младшим чинам.

Тут Степан Степаныч в первый раз в жизни вспомнил
о приличии и, неизвестно почему, громко засмеялся.

Степан Степаныч идет от двери передней, кланяется,
как подобает истинно городскому голове — гордо и це-
ремонно, и смотрит на присутствующих, т. е. на поро-
жние стулья, свысока, прищуря оба глаза, которые и
без того были не слишком зорки, кроме денег не могли
рассмотреть решительно никаких предметов. Секретарь
уже тащит, и прямехонько к носу Степана Степаныча,
огромную кипу бумаг для подписи. Его высокостепенство,
потомственный и почетный гражданин, Степан Степаныч
Подметкин садится в кресло, надевает золотые очки, по-

глаживает свою бороду и, глядя глубокомысленно на бумагу, сам с собою рассуждает.

— Какая гибель бумаг! Неужели же я должен все их читать? Как бы не так! Я думаю, что половина этих бумаг — дрянь какая-нибудь? Погляди-ка: „отношение 2-й части города Веселого от 1 мая за № 22. Она, часть, в оную городскую думу, имеет честь при сем препроводить веселовского мещанина Николая Васильева Загребкова, взятого за пьянство и позднее ночное хождение, и покорнейше просит, предать того мещанина суду добросовестных“. Подписано: „пристав Деньгобралов; письмоводитель Обиралов“. Ну, это дрянь, — продолжал думать Степан Степаныч: заглянем-ка лучше в журнал думы. „Слушали в общем присутствии думы следующее: подписание веселовского губернского правления от 12 марта, сего года, за № 1334, 314 коим на рапорт думы от 4 апреля прошлого года, за № 44 713 разрешается гласному думы Федору Кривоглазову, произвести некоторые починки и поправки, в городских частях и сверх сего, в оных же частях сделать новыми 16 сигнальных шаров, для могущих предстоять в городе пожарных случаев“.

Вот эта статья занимательна! — подумал Степан Степаныч, оставляя чтение: такие я всегда буду читать. Ах, вор Кривоглазов! — продолжал Подметкин, грустно склоня над столом голову: как он лихо грабит нашу любимую Думу! Непременно делится с секретарем и стряпчим. Все 16 шаров стоят всего-на-все восемь целковых, и он выставил восемьдесят пять! Нет, подлец, при мне таких пакостей не будет в обществе, выведу все мошенничества и плутни. Видишь! Сидит словно не он: не знает кошка, чье мясо съела. Отныне и до конца моей службы, все постройки, какие бы то ни были в городе, я буду производить сам, лично.

Степан Степаныч произнес эти слова хотя и про себя, но решительность и энергия его поворотов в кресле ясно говорили, что он исполнит свои слова на самом деле, или, как он любил выражаться, на практике.

А кипа бумаг продолжала лежать без действия под пятою Степана Степаныча. Господин Подметкин еще раз взглянул особенным взглядом воззрения, и еще раз подумал:

— Пес возьми! Где тут, в самом деле, успеешь прочесть столько!

Степан Степаныч подумал и выдумал, что бумаги можно подписывать, не читая, на дому, лежа на диване, полулянув возле себя чернильницу—и строчи знай, на коленке: и легко, и удобно, и спокойно, и спина не болит. Для такого благого подвига, его великостепенство, Степан Степаныч, повелительно приказывает вахмистру: „завтра, чуть свет, принести бумаги к нему, его высокостепенству, на дом“. И величественно обращается с таким же требованием к секретарю. Толстяк секретарь отвечает: „Очень хорошо-с“. Вахмистр, вытянувшись в струнку, тонорит: „слушаю, ваше высокоблагородие!“ Ах, как это хорошо! Какие почести воздают Степану Степанычу! Да после этого умирать не следует. Глядя на стоявшего перед ним вахмистра, который вытянул руки по швам, Степан Степаныч простодушно пожелал быть генералом, или полковником. Дескать „так весь полк стал бы передо мной вытягиваться!“ А между тем, его высокостепенство, веселовский первой гильдии купец, потомственный и почетный гражданин, Степан Степаныч Подметкин, с привешенной за полотенце кочергой, стоит все еще в дверях залы. Орлиный взор его смотрит на конец стола, где стоит порожнее кресло.—„Надо сесть и начать присутствие“,—сказал воображаемый городской голова. Идет Степан Степаныч тихой и мерной поступью к своему креслу, и кочерга за ним тащится и гремит, словно настоящая сабля. Садится Степан Степаныч в кресло и обращает речь к крайнему от себя стулу, держа в уме своем мысль, что на нем сидит старший гласный от купцов, хитрый Кривоглазов, к которому господин Подметкин, неизвестно почему, чувствовал сильнейшее отвращение.

— Нам надо учинить в городе некоторые постройки. — говорит от лица своей персоны Степан Степаныч, обращаясь к крайнему от себя порожнему стулу, стоящему с правой стороны: — вот например, Казанский мост ¹ следует переделать...

Стул, как известно Степану Степанычу, должен молчать, но за него спешит ответить сам господин Подметкин.

— Совершенная истина, „ваше высокоблагородие“, постройки в городе сделать необходимо и, если можно, то надо к этому приступить немедленно, по тому случаю, что третьего дня на Казанском мосту провалились три бабы, один водовоз с лошадьёу, да еще почтмейстер, Иван Иванович Сургучев². Бабы и водовоз живы, а почтмейстер извоили скончаться. И слава богу, что скончались, а то нам, купцам, житья не было: отбили всю торговлю. Я уж даже от радости, господа, три панихиды отслужил, да еще двадцать отслужу. Просто—житья не было! Делал всякие притеснения. Вот бывало и на почту придешь, подашь письмо с деньгами... Подашь ему сургучу палочку — как же! Подай ему непременно две палочки, да еще 1 №, а то и письмо не примет; сдачи никогда не давал. „Вы, говорит, купцы—народ богатый, а я чиновник, бедный человек — мне взять негде“ Бедный! С меня одного перебрал до двухсот целковых. Бедный! Дом с садом стоит тысяч пятьдесят, да столько же дал на торговлю часовому мастеру Маятникову, да втрое есть нетронутого капитала — такая порода, все бы „хапать“! А мне-то, господа, какой сделал подрыв—всю мою табачную торговлю поставил верх дном. С осени еще,

¹ Казанский мост, ныне—дамба через Глебов овраг у его устья.

² Прототипом автору послужил сар. почтмейстер И. М. Вукотич. „На почте,—рассказывает местный историк,—Вукотич обращался с публикою так, как иной господин в крепостное право обращался с своей прислугой“. Впрочем, вымогая от купцов взятки („проценты“), он был к ним внимателен. Взятками и подрядами Вукотич нажил большое состояние. Там, где теперь стоят корпуса завода „Автомобилоремонт“, была его роскошная дача (тогда далеко за городом),

по всем колонкам, где сеют немцы табак, дал задание, чтоб весь табак остался за мной. Наше почтение! — проныра почтмейстер весь табак перекупил — и мой даже задаток лопнул. Что с ним будешь делать? Ведь он в чине генерала почти. А стыдно бы так делать? Ведь уж я купил — нет, надо сделать человеку подлость... Да вот что еще, господа, вы знаете лекаря Михеева, вот что травы составлял? С этим стариком так он смастерил штуку, просто поддел важно... Да и за дело — вместе садовали. А ведь в чине генерала — стыдно, кажись бы, делать пакости!.. Но мост надо точно переделать.

— Ваше замечание справедливо, почтеннейший Федор Иванович, — отвечает Подметкин от своего лица, — только постройки следует учинить хозяйственным образом. Я беру эту ответственность на себя...

Тут Степан Степаныч ждет возражений, которые должны последовать от гласного Кривоглазова, и приготовляется дать ему на первый раз сильнейший отпор, чтоб он, Кривоглазов, на будущее время, держал себя как можно приличнее в обществе его высокостепенства; чтоб он, Кривоглазов, крепко помнил, что ведет речь в потомственном и почетным гражданином, и к тому же, с городским головой, и чтоб замечаний на его слова делать не смел.

— Я тебе дам! — думал про себя Степан Степаныч, — у меня ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами, — мои дела не мешайся. О, я знаю как с вами делаться!

Степан Степаныч грозно посмотрел на порожные стулья. Он даже пожелал было для назидания гласным скрипеть зубами, но зубов в наличности не оказалось, потому что у него всего-на-все было только три с половиною зуба, да и те были в одном месте. Его высокостепенство погладил себе бороду и потом продолжал мечтать.

— Как вы думаете, почтеннейший Федор Иванович, сколько надо употребить денег на постройку Казанского моста?

— Тысяч пять, — отвечал почтительно Кривоглазов.

— Нет-с, Федор Иванович, — возражает его высокостепенство, — не пять тысяч, а девятнадцать серебром-с. Я уже сделал нужные исчисления! Тут не этим пахнет.

— Старый лес можно употребить в дело, — замечает Кривоглазов.

— Старый лес тут непригоден, — отвечает с негодованием его высокостепенство, — мы старый лес раздадим бедным мещанам.

При этом случае Степан Степаныч обратил мысль на своих племянников, которым он внутренне обещался выстроить дом на общественные деньги, лишь бы только „господь устроил его городским головою“.

— Да, бедных в городе много, — отвечает за гласного Кривоглазова Степан Степаныч, — но они все ленивцы, пьяницы и праздношатающие — о них и заботиться не стоит.

— Ваша правда, любезнейший Федор Иванович, — отвечает от себя господин Подметкин: — пьяниц, бедных и праздных очень много. Я хочу предложить обществу: не благоугодно ли будет ему обратить их всех в солдаты? На кой пес их держать в мещанах? Только недоимка накапливается. Ведь на нашем мещанском обществе постоянно числится тридцать тысяч целковых. А там они будут на казенном продовольствии.

— Да многие из мещан из лет ушли, — заметил кто-то из гласных с левой стороны.

— Мы подарим, кого следует, попросим, нас уважат.

Эти слова сказаны были Степаном Степанычем таким мягким и нежным голосом, что будто бы он обещал мещанскому сословию рай земной.

— Мы подарим, кого следует, попросим, нас уважат, — подтвердил Степан Степаныч.

— Очень хорошее дело, — проговорили некоторые гласные. А другие гласные упорно молчали.

Но вот молчание нарушил молодой, сильный голос.

— Не лучше ли, „ваше высокоблагородие“, начал говорить гласный от мещан, — сделать складочный капитал, собрать бездолжных мещан и дать им на устройство хозяйства рублей по 30 серебром, на первый случай — они могут пахать и сеять, и могут поправить свое состояние. Ведь, в самом деле, положение бедных мещан достойно истинной жалости; должностей частных никаких нет, земли давать не положено. Что тут делать? За что взяться? — Закружится голова, если хорошенько вникнуть в положение бездолжного мещанина. Пьяницы! Тот не испытал бедности, кто так говорит. Пополе запьешь, если оглянешься назад и кругом — все голо, пусто, хоть шаром покати, а есть-то хочется. Тоска бедному человеку — он мечется и туда и сюда, берется за всякую крайность, сердце в нем кипит, голод мучает, безнадежность доводит до отчаяния, приходится хоть и есть — а грешно, и все-таки бедняку хочется жить и жить. Вам, Степан Степаныч, стоит только взяться и хлопотать о мещанах, сделать куда следует представление, сказать просто и ясно, что у города земли много, а городу доход есть большой и без земли. И спросить, нельзя ли эту землю разделить для мещан на участки? Вот тогда-то вам скажут спасибо, истинное и большое спасибо! Тогда и земледелие примет широкие размеры; на вас глядя, тогда и другие губернские города возьмются за то же. Но за то вам первому, Степан Степаныч, будет принадлежать мысль об улучшении быта мещан...

Много и долго еще говорил гласный от мещан. Но будущий городской голова, его высокостепенство, потомственный и почетный гражданин, Степан Степаныч Подметкин, давным давно спал, сидя на своих, покуда еще мнимых, президентских креслах.

Ночь проходила. За час до рассвета, его высокостепенство проснулся, торопливо отвязал кочергу, которая ночью служила ему вместо сабли, убрал со стола самовар и поставил на прежние места стулья и стол.

Так во время оно, очень уже давно, князь Александр Данилович Меншиков изволил делать подобные репетиции в тронном зале царского дворца. Князь садился на трон, примеривал корону Петра II, надевал на себя порфиру.

Степан Степаныч Подметкин, конечно, не мог равнять себя с князем в отношении умственных способностей, но все-таки он делал в своем доме репетиции и был счастлив как мальчик, которому дарят красивую игрушку.

Его высокостепенство боязливо осмотрелся по всем углам комнаты, труся, чтобы, кто-нибудь из домашних не заметил его проказ; потом Степан Степаныч не утерпел и тихонько про себя сказал.

— Буду городским головой.

Потом господин Подметкин принялся за свои обычные занятия.

Однако, как потомственный и почетный гражданин, Степан Степаныч Подметкин, страстно и пламенно ни желал быть городским головою, а встретилось немало препятствий. Во-первых, Подметкин был раскольник, следовательно, закон не допускал его к отправлению общественных должностей; во-вторых, были в городе Веселом купцы и старше его родом, и много богаче; в-третьих, половина мещан города ненавидела его за непомерную гордость и высокомерие; впоследствии эта ненависть возросла до негодования, до явного ропота.

Степан Степаныч думал ночь, думал две, думал сто, двести ночей, да и отстранил все эти препятствия.

Настала ночь 18... года, такого-то месяца и числа, ночь знаменитая в биографии Подметкина. Большой дом его, стоящий на главной улице города, был иллюминирован со всею затейливостью, тут горели голубые, красные, синие, зеленые и других цветов шкалики; тут были разные транспоранты и щиты, с изображением цветов, то есть: роз, лилий, лавров, и т. п.; тут были... Впрочем, тут было много всего; всего не упомнишь и, следова-

тельно, не перескажешь. Главное внимание должно обратить на большой съезд у дома его высокостепенства. Вся площадь и улица около ворот были загромождены разными экипажами; начиная считать с двух-трех колясок, можно добраться общим числом до сотни долгуш и других общеупотребительных экипажей. Народу перед домом его высокостепенства было очень много. Эту толпу занимало внутреннее освещение комнат, где было так светло, как словно в ясный день при солнце. Толкотня между любопытных зрителей была порядочная; всякий старался пролезть вперед и всякий старался узнать причину такого блестящего освещения.

— Послушай-ко, поштенный, эй ты, землячок,—заговорил в толпе один мещанин в желтом верблюжьем чапане, обращаясь к другому мещанину в таком же одеянии, — что это за ляменация такая?

— А бог ее знает. Говорят, кажись, что Степан Степаныч дочь свою отдает замуж.

— Какую эфто? — перебила речь мещан, вмешавшись в разговор, какая-то пожилая мещаночка. — Кособокою-то Фетинью Степановну?.. Да кто ее возьмет? На богатство наплевать. Надо, чтоб был человек как следует.

— И, матка ты моя! — воскликнула, вмешавшись в общий разговор, мещанка моложе первой, — ноне только будь денежки, а то возьмут девку и без тово-сево... без ног, калеку...

— Нет, братцы, — сказал высокий, рослый парень, подходя к кучке разговаривающих и внимательно вслушиваясь в их слова, — тут замуж никого не выдают. Я вчера работал в упокоях Степана Степаныча. Полы натирал воском, так знаю кое-что...

— Расскажи, любезный, расскажи! — воскликнула толпа разом.

Парень, переминаясь с ноги на ногу, таинственно сказал:

— Степан Степаныч третьева дня окстился...

В толпе раздался громкий, продолжительный хохот.

— Что ты врешь, любезный! — заметил первый мещанин. — Чаю, он не жид какой. Надо ж городить такую ерунду с клюквой!..

— Право, ей господи не вру, — заметил парень несколько обиженным тоном, — сам и ходил смотреть-то в новый собор. Духовенства было много, купечество было и много хороших мещан. Сам архимандрит мазал Степана Степаныча маслом...

— Миром, — перебил кто-то в толпе.

— Да полно вам вры-то городить, — вмешался опять первый мещанин.

— Ей, ей-же господи! — божился парень, — вот если я вру, так сами спросите кого хотите.

Стоявшие вблизи бабы хотели было хором сделать какое-то возражение на слова парня, но верно на них нашел „тихой стих“, потому что они не стали больше слушать и смешались с толпой. Двое мещан остались на месте спора и задумались.

— Как же эфто так? — спросил первый мещанин второго: — как же окстился-то Степан Степаныч? Ведь он русский человек.

— А может и не русский, а прикинулся только русским, — отозвался второй мещанин, — ведь всяко бывает. Чувашин, али мордвин — кто их отличит от русского человека...

— Вона! — возразил первый мещанин, — что мордвин, что Степан Степаныч — тут есть разница. А вот все мне невдомек, зачем Степан Степаныч окстился-то...

— А ты, голова с мозгом, не догадаешься? — сказал подошедши к разговаривавшим третий мещанин. — Зачем? Ведь он был „часовенный“.

— Ну, так что ж то?

— „Часовенному“ быть степенным головой нельзя, — начальство запрещает.

— Эка оказия то! А что, парень, ведь и точно, может быть. А я-я-й! Ну, прокурат! Нечего сказать.

Захотелось очень быть степенным-то головой...

Видно, что захотелось...

Теперь „часовенным-то“ будет без него не вот так.

Да, не очень.

Степан Степаныч своих не покинет, — заметил третий мещанин, обращая все свое внимание на окна дома Подметкина, откуда слышалось: „ура, Степан Степаныч!“

Двое мещан подвинулись было к третьему говорившему, чтобы послушать его речей, но толпа любопытных подвигалась все ближе и ближе к воротам и их с собою захватила... Тут сделался общий смешанный говор и шум, и слышны были только отрывистые, глухие слова:

Да как же эфто любезный?

Да почему я знаю...

Ты расскажи толком.

Нечего рассказывать-то, все знают...

Ай, батюшки! Ногу сдавили!

Тише, тише, не теснитесь.

Ну-ка, ты, олух, что ты налегся... Аль спать захотел?..

Тише, братцы, тише, раздайтесь!..

Гул и говор усиливались. Оставим эту толпу на улице, где она время от времени движется и переходит на разные места. Перейдем теперь во внутренние комнаты Степан Степаныча.

Его высокостепенство, потомственный и почетный гражданин давал обед. На этот великолепный обед приглашены были только избранные, из сословия купцов и мещан такие люди, на которых Степан Степаныч рассчитывал, то есть рассчитал уже заранее. Эти люди были, можно сказать, одна семья, семья, которая теперь сидела за столом Степана Степаныча, которая имела удовольствие кушать хлеб и соль господина Подметкина, семья, которая знала, что ее любимый член, принял „едино-

верие"¹ собственно не за тем, чтоб переменить свои веру и сделаться „богоотступником“, но единственно, с невинною целью, чтобы быть городским головою и служить для общей пользы, для пользы раскольников (главные представители „поповской“ секты, замечу мимоходом, все тут были налицо). Степан Степаныч издавна проповедывал, что если будет угодно гражданам города Веселого, и если они удостоят его таким почетным выбором, то он, его высокостепенство, соблюдая слова присяги „не щадя живота своего до последней капли крови“, будет стараться всеми зависящими от него мерами и всеми средствами об улучшении города и быти его жителей, небогатых купцов и в особенности мещан: бедное положение последних крайне трогало нежное сердце Степана Степаныча. Его высокостепенство, под рукою и через своих приближенных, давно толковал о таковом своем пламенном и человеколюбивом желании, и толковал так, что решительно никто из самых проникательных не мог быть разуверен в искренности его убеждений. Степану Степанычу поверили и не одни раскольники. Всякий член своего сословия, в каком бы он звании ни находился, конечно, желает улучшения города, в котором он родился и живет. Степан Степаныч именно был избран в головы такими людьми, которые родились и живут постоянно в городе Веселом, имеют свои дома, сады, лавки и т. п. Эти люди, по время баллотировки, клявши шары на правую сторону, разумеется, немножко покривили своею совестью и немножко нарушили присягу, ну да бог им простит: они желали себе лучшего, они хотели себе благо. Степан Степаныч в перспективе рисовался для них каким-то кумиром или, по крайней мере, если не кумиром

¹ Единоверие — соглашение между частью старообрядцев и православной церковью (с 60-х гг. XVIII в.) о признании права на совершение старых обрядов и приеме священников, рукоположенных православными епископами. Правительство введением единоверия стремилось отколоть от старообрядчества его зажиточные элементы.

ром, то человеком деятельным, твердым и непоколебимым за права граждан, справедливым, добрым до крайности и неутомимым. У избирателей в голове было одно: Степан Степаныч был для них человек нужный, необходимый, потому что он для них обещал сделать многое. А как не постоять за такого человека, который обещает, и уж конечно выполнит свое обещание.

Как бы ни было, тянулось дело долго ли, коротко ли, но таки его высокостепенство, Степан Степаныч Подметкин, был избран городским головою; граждане, в знак усвоенной к нему доверенности, удостоили его такого почетного звания, а губернское правление, без всякого сомнения, утвердит в этом звании — Степан Степаныч уверен и в себе, и в губернском правлении.

В комнатах, в особенности в большом зале, очень светло. Сам хозяин и виновник торжества, Степан Степаныч, сидит на главном конце стола, перед лицом гостей близких, избранных и почетных; прочие гости сидели в других комнатах, за другими столами. Лакеи давно распорядились кушаньем. Музыка в боковой комнате играет какой-то веселый марш; бокалы шампанского налиты и стоят под носом у каждого гостя. А Степан Степаныч что-то задумался и, вопреки своему знанию света и людей, позабыл даже немножко приличие: не провозгласил даже за кого следует первого тоста. О чем же задумался Степан Степаныч и в такое благоприятное для него время? Вот о чем: его высокостепенство, потомственный и почетный гражданин Подметкин, теперь имеет счастье быть головой, представителем всего купечества и мещанства, и целых три года будет носить этот почетный титул — прекрасно; три года пройдут, и не увидишь как — будущее неизвестно. Степану Степанычу ничего больше не хотелось и не хотелось, как умереть в таком почетном звании, звании, в каком он находится теперь, в настоящую минуту. Степан Степаныч надеется прожить не три только года, будущее все-таки неизвестно. Изберут ли его на следующее

трехлетие и потом, за ним последующее? Вот эта-то мысль немножко и затуманила голову его высокостепенства.

— За здоровье Степана Степаныча! — воскликнул один из гостей, почтенный купец, закоренелый раскольник, приятель Подметкина, который сидел возле своего патрона, — желаем многолетнего здравия Степану Степанычу, дай господи ему жить, служить и нас любить.

Гости все до одного встали и взяли в руки бокалы. Степан Степаныч последовал примеру других, тоже взял бокал и встал со своего места; но он, умный человек, и тут позабыл, что первый тост следует быть не за его собственно здоровье, а за чье-нибудь другое. Но минута прошла, бокалы осушены, а посторонние мысли были далеко от натуры Подметкина. Степан Степаныч, поднимая кверху другой налитый шампанским бокал, сказал дрожащим, от многообразных чувств и мыслей, голосом:

— Милостивые государи, почтеннейшие господа, любезные мои соотечественники! Всепокорнейше вас прошу, выслушайте меня со вниманием. Я теперь ничего не могу сказать ни о себе, ни о моем усердии ко благу города, я только теперь могу вас благодарить за внимание, которое вы мне оказали... я постараюсь... я сделаю мешан совершенно...

Далее Степан Степаныч не мог ничего говорить, да-ром что ему, по заказу за двадцать пять рублей серебром, уставщик его часовни, мещанин Герасим Зайцев написал целую речь, на целом листе с кудрявыми фразами. Степан Степаныч все позабыл, потому что собственное честолубие, почести ему оказываемые и прочие многообразные чувства, и другое, все такое хорошее, лестное для его высокостепенства, немножко захватило ему дух и выжало на глаза капли две слез. Однако, Степан Степаныч на столько имел твердости, что мог выпить душком свой бокал, который в руках его неизвестно почему дрожал. Гости со своей стороны последо-

нали примеру господина Подметкина. Тут все присутствующие окончательно убедились, что Степан Степаныч — человек чувствительный и, следовательно, добрый: значит, от него будет прок.

Потом следовали тосты по порядку за здоровье некоторых властей города, — тут Степан Степаныч несколько опомнился от угара честолюбия, — за здоровье их супругов и т. п. В середине обеда, какая-то густая русая борода из мещанского сословия, под влиянием шампанского (которое ей господь привел пить первый раз в жизни), изволила было провозгласить тост „за здравие и благоденствие“ отставного частного пристава, какого-то Василья Гаврилыча; но на этот тост сочувствием никто не откликнулся, и бородка должна была невольно сконфузиться, то есть просто срезаться перед почтенными гостями. Обед был, поистине, шумный, как и всегда бывает между подобными людьми. Тут рассуждали о разных предметах, о том, о сем и о том, чего сами рассуждающие вовсе не разумели. Тут даже некоторые пустились в пляс. По окончании обеда, Степана Степаныча, порядком опьяневшего, обязательные гости, на кресле, как он сидел во всей своей красе, благополучно откатали в спальню. Некоторые гости сами сошли с крыльца, а некоторых лакеи вынесли на руках и бережно положили на тарантасы и на другие экипажи.

Тем обед и покончился.

Прошло два года.

Его высокостепенство, потомственный и почетный гражданин Степан Степаныч Подметкин правит своими делами весьма умно и успешно; все жители, то есть купцы, и в особенности мещане, притаились, молчат: по видимому, они довольны правлением Степана Степаныча. Да, это правда, но не слишком большая. А вот в чем штука...

В самый третий год благополучного вступления Степана Степаныча в головы и его прекрасного управления

городскою думою, поверенный мещанского общества, неизвестно вследствие каких причин, вздумал на Степана Степаныча подать просьбу, да еще по почте, прямо в Петербург. Дерзкий человек!

В этом доносе были прописаны все его проделки и с мещанским обществом, и со своим братом-купцом, и с казною, и все такое, что должно было быть весьма неприятно Степану Степанычу. А между тем, потомственный и почетный гражданин, господин Подметкин, был спокоен, потому что он был уверен, что доносы на городских голов пишутся людьми неблагонамеренными, клеветниками, ябедниками, одним словом, людьми без всякой нравственности. Он, Степан Степаныч, верно знал, что донос не подействует и решительно не будет иметь никакого влияния на его управление общественными делами, — знал и продолжал действовать, как подсказывали ему собственный ум и сердце.

А ты, писавший этот донос, мещанин Иван Зинович, ты, всю жизнь живший честно, ты, вздумавший подвизаться за правое дело, за дело бедных и беззащитных мещан, выиграл ли ты сколько-нибудь своим поступком в мнении Степана Степаныча? Ровно ничего, а потерял много. Во-первых, его высокостепенство, господин Подметкин, узнав положительно о твоём доносе, удалил тебя от должности „поверенного по городским землям“; во-вторых, он призвал тебя к себе в дом, долго смотрел на тебя, качал головою, крикал, кашлял, ходил скорыми шагами по комнате, опять подходил к тебе и опять начинал смотреть на тебя долго и пристально тем мучающим сердце взглядом, который известен только беднякам. Потом Степану Степанычу мимика без дикции надоела, он еще раз подошел к тебе, Иван Зинович, взял тебя за бороду торжественно и с сознанием собственного достоинства потряс ее и сказал: „Слушай ты, Ванька, если ты впредь будешь писать на меня в Питер доносы, да беспокоить здешнее начальство, то я тебе на первых порах оборву всю твою бороду — вот эдак,

Вот так, вот так, чувствуешь? (Степан Степаныч во время своей назидательной речи сильно дергал Чайникова за бороду, а уничтоженный таким обхождением Иван Зиновьевич стоял смирно, боясь пошевелиться, потому что в дверях залы стояли два дюжих лакея, которые по одному мановению Подметкина поступили бы к „поверенным по городским землям“ хуже и много нечеловечнее). Слушай ты, Ванька, я тебе никогда этого не прощу, я тебя сотру с лица земли.. превращу в пыль и прах, слышишь? В Сибири места не будет. Пошел, скот. Ты пошел, Иван Зиновьевич, повесь голову, с горьким и грустным чувством ты сказал: „боже, боже, когда же будет справедливость в людях?“

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ И САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ

Платон Астафьич Сестрицын сначала был „неотесанный“ мужик, потом — „тороватый“ мещанин, и наконец, из всех этих хороших чинов, он сделался „почтенным“ купцом, которого — или на смех, или в самом деле он того стоил — с пренебрежками поклонами величали: „ваше высокостепенство“. Бывши мужичком, то есть крестьянином пригородного села Большой Ид-лги, он, Платон Сестрицын, ходил в сермяге, в лаптях, и часто-часто, именовался не Платон, а просто, без затей — Платошка ледащий, по тому случаю, что был сдобой невзрачен и неопрятен, и потому, что вел торговлю калачами, которые он носил продавать в город, и которые весьма искусно пек сам, собственноручно. Нередко покупатели находили в калачах Платона тараканов и других домашних животных, но они не имели претензии на неопрятность продавца, потому что замысловатый калашник вел себя тонко, умно. Как только какой-нибудь мещанин или мещаночка хотели задать Платону распекадию, Платоша делал лицо и всю свою фигуру удивительно комически и, приплясывая, начинал петь козлиным голосом такую песню:

„Сказали про Дуню,
Сказали про любовь;
Дунюшка, Дуня,
Дуня любавал!
Что Дуня не пряха,
Не пряха, не ткаха, —
Чужой сарафанишка,
Старухин платчишка.“

Дунюшка, Дуня,
Дуня, любава!
Как пошла же Дуня
На торг торговати,
Купила же Дуня
С рученечкой десять,
Напряла же Дуня
С початочком' десять,
Наткала же Дуня
С аршинчиком десять.
Как пошла же Дуня
На реку холст мыти:
В первой обмочила,—
Реку помутила.
В другой обмочила,—
Мостки подломила;
В третий обмочила,—
Реку посушила.
Как пошла же Дуня
Свой холст-ат сушити:
Повесила Дуня,
Сударка-любава,
На семь сох дубовых,
На восемь кленовых.
Семь сох подломила,—
Семь снох задавила.
Осьмую золовку—
Ведьму колотовку,
Девятого свекора—
Да старого чорта.
Дуняшка, Дуня,
Дуня-любава!
Десяту свекровку—
Старую чертовку.
Как звали же Дуню
В Казань погуляти:
Поедем-ка с нами —

У нас новы сани.
У нас во Казани
Коза в сарафане,
Коза в сарафане,
Козел во кафтане,
И всякому зверю
Свое есть названье...
Коза в сарафане,
Козел во кафтане,
И всякому зверю
Свое есть названье..."

Тут, на самом интересном месте, когда зрители помирали со смеху, квартальный грозно приказывал Платону молчать, и зрители лишались удовольствия дослушать окончание песни, которая постоянно никогда не оканчивалась. Как бы то ни было, а калачи Платона продавались успешно, несмотря на то, что пеклись в неопрятном месте. Покупатели любили Сестрицына, любили собственно за его оригинальную песню, любили за то еще, что он пел ее мастерски. Разве иногда, но и то весьма редко, какая-нибудь строптивая баба делала калачнику такое замечание:

— Эй ты, леший Платошка, долго ты нас, ледащий человек, будешь кормить тараканами-то?

— Калачики горячи, крупчататы хороши! — голосил Платон Сестрицын, не обращая внимания на упреки бабы.

И потом, продолжая итти путем-дорогой, он пел вполголоса свою обычную песню. Эта же самая баба, которая за минуту была недовольна калачником, обращалась к нему с другими уже словами: „Постой, Платошенька, постой, голубчик, на часик“.

Платон останавливался.

— Продай мне горяченьких калачиков.

— Горячих нет, тетенька, а вот вечерышних уступлю тебе...

— Уступи, родимый.

— Грош за калач.

— Христос с тобой! — замечает с удивлением баба, — да севоднишни-то мягкие по грошу.

— Не такой сорт, тетынька.

— Третьеводнишни, чѣрствые.

Платон как будто не слышал слов бабы; он, машинально перебирая на лотке калачи, запевал веселую песню:

Ах, бил меня муж,
Колотил меня муж
Скалочкой-мешалочкой,
Называл Духарочкой:
Духареичка,
Кинареичка...

— Какой ты прокуратник, Платоша, — замечала баба, на губах которой показывалась улыбка удовольствия. — Да уступи что-ль калачики-то!

— Нельзя, тетынька, вот-те христос — нельзя!

Шубеичка, мелкий сбор, —
Легче прыгать чрез забор,

продолжал Платон Сестрицын.

Баба начинала хохотать и покупала калачи, которые даже в сухари не годились. Весело шла баба домой, вспоминая свои счастливые похождения, которые так нечаянно напомнил ей балагур калачник, и лишь только дома могла опомниться. И тогда она желала калачнику, чтоб у него „в пузе лягушки завелись“, и чтоб он подавился этими самыми калачами, которые она теперь выкинула на двор. Платон Сестрицын ничего не знал и не ведал, и продолжал торговать.

Когда был мещанином, он ходил в синих суконных кафтанах, в бархатном картузе, носил козловые сапоги и удостоился получить полное титулование Платоном Астафьичем. Тут он решительно ничем не торговал, то есть, явно не производил никакой торговли, потому что торговать ему было некогда, а в пору лишь было успе-

вать бегать по городу, начиная с раннего утра до глубокой ночи, да пропадать бог весть где за городом, по целым месяцам. Это ничего с, это не навлекало подозрения на поведение Сестрицына, это так, пустяки: тороватому мещанину безгрешно можно пропасть на круглый год, на два и десять, лишь бы были заплачены подати и имелся в запасе паспорт.

Сделавшись купцом первой гильдии, потомственным и почетным гражданином, его высокостепенство, Платон Астафьич, по прозванию Сестрицын, стал ходить в собольих шубах, в бобровых шапках (тогда еще существовала мода на большие бобровые шапки), носил лакированные сапоги и уже не только не хотел чем-нибудь собственноручно заняться или внезапно скрываться из города, в котором имел благополучное свое пребывание, но хотел и мог только есть, пить, спать и..., то есть совсем не желал ударить палец о палец. Впрочем, Платон Астафьич не лишал себя некоторого рода занятий, например, он вставал довольно рано, ходил по широкому двору и с удовольствием смотрел, как кучер гнал палкой от ворот толпу нищих, которые хоть копейкой желали поживиться от богача. Он не любил нищих и удивлялся, как могут существовать бедные люди и откуда они берутся. Он думал, что не нужно лишь лениться, а нужно промышлять крепко и сильно, и тогда не только избежишь нищенства, но весьма скоро сделаешься богатым. Странное дело! Платона Астафьича даже нельзя было узнать. Прежде он юлил и егозил между людей подобно ящерице, вот так и хотел влезть в ухо всякому, а теперь сделался горд и неприступен, не хотел ни с кем говорить, если разговор не касался собственных его интересов. И, в самом деле, что тут странного? Платон Астафьич разбогател, да к тому же в весьма короткое время. А при таких обстоятельствах человек всего скорее способен зазнаться.

Да какая же статья, какая надобность была заниматься Платону Астафьичу трудными делами? Было время,

трудился Сестрицын, и как трудился! Было время для трудов, когда он был деревенским мужичком, мещанином, а теперь это время прошло, и для Платона Астафьича настала давно им желанная пора отдыха и успокоения. Заслужив титул его высокостепенства, Платон Астафьич, насчет трудов, забот, беготни и т. п., был обеспечен железным сундуком, сверху донизу наполненным мешками и мешечками со звонкою добродетелью.

С того самого дня, как у его высокостепенства Платона Астафьича Сестрицына появился железный сундук, он стал понимать и сам себя, и других людей, он стал чувствовать, что он рожден для того только, чтоб нанимать других, платить жалованье по их заслугам, но чтоб жалованье имело свое настоящее значение и определенную цель, его высокостепенство для своих подчиненных придумал собственного своего изобретения разного рода чувствительные распеканья и особенного свойства наказания, которые, чтоб не возмутить спокойствия читателя, я прохожу молчанием.

Платон Астафьич не хотел ни с кем знакомиться, он любил уединение и тишину. Выше я сказал, что он вставал рано; теперь прибавлю, что большую часть дня Платон Астафьич посвящал молитве. О чем молился Платон Астафьич, неизвестно. Только он молился долго, усердно и пламенно; по целым часам он стоял на коленях, читал вслух молитвы, и плакал горькими слезами... Зачем молился Платон Астафьич, когда не хотел сделать ни одного доброго дела? Зачем он плакал перед иконами, когда он мог и не хотел отереть слезы ни одной вдове, ни одному несчастному? Этот вопрос, читатель, я не берусь решить вам.

Жил Платон Астафьич, и дожил, не испытав никакого беспокойства, слишком до шестидесяти лет. Впрочем, в те поры и возмущать спокойствие Платона Астафьича никто не догадался: все, вишь, были такие недогадливые, такие осмотрительные, скромные. Бог с ними!

Его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицкий, имел свой каменный, крепкий дом, с прочными высокими заборами, а оконечности высоких заборов были утыканы острыми гвоздями, заказанными Платоном Астафьичем в лучшей городской кузнице: вот и поди тут какой-нибудь воришка, и полюбуйся, и посмотри—забраться к Платону Астафьичу нельзя, как раз повиснешь на заборе, в поучение и назидание всем воришкам. Платон Астафьич крепко боялся воров, но большой прислуги не держал, потому что всякую домашнюю прислугу он ставил на одной доске с воришками. А между тем, кроме кучера и старика привратника, в большом доме его обреталась какая-то женщина под скромным наименованием стряпухи. Кроме этих необходимых лиц, Платона Астафьича каждый день посещали пять-шесть человек, которых он величал громкими именами писарей, а одного из них, человека почтенных лет, он, в отличку от других, называл конторщиком.

Нижний этаж дома, где имел проживание его высокостепенство, выходил к воротам; над крыльцом была прибита дощечка с надписью: Контора. Значит Платон Астафьич занимался каким-нибудь промыслом?—Вот тут-то и закорючка, читатель. Кто его знает, каким он занимался промыслом. Не только его промысел, но и каждый его шаг оставались для всех непроницаемою тайной. Говорили некоторые его знакомые, будто они сквозь окна конторы нередко видели огромные книги, которые то появлялись, то внезапно исчезали,—только говорили, но видели ли—наверное неизвестно. Иные с божбой уверяли, что не сами они, а их приятели, имеющие очи любопытные и нескромные, видели, что книги на окнах конторы точно были, и было на этих книгах на правой и на левой стороне написано: брутто, нетто, и между прочим весьма таинственно прибавляли, будто бы в этих книгах было премножество пустых граф. Иногда, но весьма редко (хорошие дела нечасто можно видеть), и скромные люди замечали, как человек почтенный

т. е. то есть конторщик Платона Астафьича, развертывал бумагу по одной белым книги, посыпал на листы какого-то черного порошка, истолченного в пыль, и слегка начинал тереть рукою. О, удивление! Вдруг, словно по магии непостижимой силы, на белых страницах являлись цифры и слова. Почтенный человек, боязливо осмотревшись по всем углам конторы, начинал быстро списывать слова и цифры на особую бумагу, которую он тут же прятал за голенище своего сапога. После первой прекрасной операции, почтенный человек опять начинал тереть все книги белою тряпкой, и тогда и слов и цифр как не бывало: листы делались чисты попрежнему, а книги отправлялись в подполье, устроенное с необыкновенным искусством. Благополучно устроив и кончив это дело, как надо полагать, очень полезное для Платона Астафьича, почтенный человек с бумагой, спрятанною за голенищем, торопливо отправлялся вверх к своему хозяину. Его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, встречал своего конторщика довольно странным образом. Например, если почтенный человек входил в переднюю комнату, и там была стряпуха, Платон Астафьич страшно начинал моргать глазами и шмыгать носом, приговаривая нараспев дискантом: „Глаза болят, нос болит“. Эта коротенькая песенка служила знаком для почтенного человека, что он не должен говорить лишних слов при бабе: баба глупа, у нее вода во рту не удержится, а лишние слова и подавно, что он, почтенный человек, в присутствии стряпухи, никак не должен вынимать заветной бумаги из-за голенища сапога; это следует так делать не по чему-нибудь прочему, не из опаски или какой-либо боязни, а это приличие должно соблюдать так просто, из одного глубокого уважения к женскому полу, потому что Платон Астафьич, по прозванию Сестрицын, уважал всех женщин вообще, а свою стряпуху в особенности. Почтенный человек весьма точно понимал пантомимы своего хозяина, он с тщанием изучил громогласное шмыганье носа, принад-

лежавшего Платону Астафьичу, и тотчас, оборачиваясь к стряпухе, и значительно указывая на дверь, говорил:

— Поди, Марина, на двор. Там тебя водовоз спрашивает.

Стряпуха уходила. Вот этого-то только и было нужно почтенному человеку, а больше того его хозяину. Почтенный человек сперва усердно глядел в передний угол (где, скажу мимоходом, стоял огромный железный сундук, прикованный цепями к стене), как будто молился, потом в лестных и отборных выражениях поздравлял хозяина с добрым утром. Наконец, внимательно посмотрев в лицо Платона Астафьича, он медленно ставил ногу на стул, медленно вынимал из-за голенища заветную бумагу, и еще медленнее, двумя пальцами, подавал ее его высоко-степенству, купцу Сестрицыну. Могу уверить вас, читатель, что Лукулл¹ не так был жаден до своих лакомых блюд, как был жаден Платон Астафьич до заветной бумаги. Он не с жадностью, но с каким-то остервенением вырывал из рук конторщика бумагу и пожирал ее глазами. Страшно было смотреть на него. Казалось, в этот момент Платон Астафьич готов был проглотить все написанные на бумаге слова и цифры — так она была сладка для него!

Конторщик, почтенный человек, был опытен в жизни, прошел, по его собственным словам, огонь и воду и еще какие-то медные трубы, но он стоял тут молча, нередко вздрагивал и необъяснимым взглядом, по временам, взглядывал на Платона Астафьича.

Восторженное состояние, в котором находился Платон Астафьич в минуты чтения, им таинственного рапорта, постепенно проходило; лицо его принимало нормальное выражение — сухое и бесстрастное. Озираясь и шопотом он начинал вести с конторщиком беседу.

¹ Лукулл, Л. Л. (106—57 до хр. э.) — римский полководец, прославившийся непомерно роскошными пирами с изысканными яствами и напитками.

— Важно, важно!—говорил купец Сестрицын, ласково трепля почтенного человека по плечу и по руке,—молодец ты, брат Лев Силантыч! Ну, друг, не чаял я от тебя такой удали, воистину сказать, не чаял! Шестьдесят подвод благополучно дошли до Баки, а там ведь уж не далеко, тово... Люблю! Молодец! Славно! Все спустим, не поймают. Куда им, псам! В первый раз благополучно проходит наш товар... Пятьдесят тысяч чистого барыша, а? Как ты скажешь, Лев Силантыч?

— Ваши речи справедливы,—с чувством умиления замечает почтенный человек своему хозяину, видя, что его лицо тоже сияет умилением,—кроме всех расходов и харчей, очищает вам, батюшка Платон Астафьич, чистой прибыли сорок пять тысяч рублей. Только, вот что-с, соизвольте нашу речь выслушать,—продолжает конторщик, понизив голос и боязливо поглядывая на особу Сестрицына,—на персидской границе таможенный смотритель человек-то внове...

— Как так?—перебил озадаченный и удивленный купец Сестрицын.—А куда же девался наш друг, достолюбезнейший, достопочтеннейший Кирик Кириллыч Кириллов?

И Платон Астафьич почувствовал в теле легкий озноб.

— Да куда-с? Туда... к шаху послали...

— Ай ай! Как плохо!

Платон Астафьич начал чувствовать, что жар разливается в его крови, и голова немножко начинает болеть.

— Тысченок с десяток вылетит у вас из кармана, батюшка Платон Астафьич.

— Кабы побольше не вылетело, друг ты мой, Лев Силантыч. •

— Оборони бог от такой напасти!

— Ты, Лев Силантыч, отписал бы к Лаврушке,—он парень-то с толком. Он умаслил бы таможенного-то. Отпиши к нему.

— Отписывал уж я, батюшка, да тово... Наша не везет.

— Пусть сунет в зубы таможенному-то пять тысяч

рублев, пусть его подавится, чтоб ему... Экой какой жадный народ, эти таможенные-то!—Готовы ободрать христианскую душу! Видно в них искры-то божьей нету! Хуже разбойников, господи прости. Отпиши Лаврушке.

— Все это ладно, батюшка Платон Астафьич, да ведь Лаврушка-то, пострел, не идет к таможенному.

— Что он, озорник, трус поганый! — возразил купец Сестрицын гневным голосом.—Али все помнит астраханского коменданта? Вишь, велика важность — отсчитал полсотни нагаек! Дуралей! Выдержит и больше; до свадьбы все заживет. Нас бивали и не так, да все прошло. Теперича мы сами имеем силу и можем побить. Отпиши же Лаврушке строго, чтобы не артачился, свое служение не забывал, шел бы не медля к таможенному-то.

— Понапрасну хлопочете, сударь вы мой Платон Астафьич, — отвечал почтенный человек печальным голосом, — вот, извольте-ка письмецо его посмотреть, что он тут раскудакивает.

Канторщик вынул из-за пазухи письмо и с благоговением подал хозяину. Тот со вниманием читал следующее:

„Любезнейшему нашему Благоприятелю леву силантичу во-первых пожалав от Бога всякова здравия и в делах скорова успеха А еще уведомляем Мы вас што мы были благополучно на место в басурманской Город Баку, а еще посылам наше почитанье и с любовью ниской поклон нашему хозяину благодетелю платон астафьичу, посылам с любовью заочно поклон нашей родительнице акулине Викентьевне и просим слезно уния родительскова благословения кое навеки нерушимо погроп нам будит А еще тетинке нашей посылам мы с любовью подарок персицку Шаль посылам Мови нашай на сарафан Сестрицы, просим нижайши сказать нашему хозяину товар провести нильзи тамошний смотритель строгай барин человек он еще внови я к нему нипойду за тыщу золотых А еще скажити хозяину хорошеничко товар мы зарыли в землю, а еще мы ожидам што нам скажет хозяин, желаем вам от бога доброго здравие исъсожительницей

ваший и съдетками остаемся живы и здоровы писали в городе Баке 1824 года марта 15 дня Лаврентей Столов.

— Пишет дрянно, а делает изрядно,—проговорил Платон Астафьич, машинально повертывая письмо в руках,—видно наши дела плохи, коли он задумал зарыть товар в землю. Ох, боюсь, кабы не влопаться.

— Пусть там они влопаются,—замечает равнодушно почтенный человек, — если уж то бог судил, так тому делу и быть.

При этом замечании Платон Астафьич страшно побледнел.

— Да как же мы-то здесь?—спросил он робким голосом.

— Мы-то, батюшка Платон Астафьич, мы дело другое,—продолжал почтенный человек, важно взглянув на хозяйна,—мы люди хотя глупые, да зато аккуратные: у нас ведь иголочки не подпустишь. Что нам кто сделает, батюшка вы мой? Пускай, кто хочет и кому не лень, пускай обыскивают: вот шишь и найдут. Книги, вам ведомо, я веду секретно: одне только графы черные, а слова и цифры я пишу гм! Вам известно чем. Все бело и чисто, признаков никаких нет. Кто тут догадается потереть нашим составцем? Не всякой дошел до этой мудрости. Эх, сударь, нужда на учит, как калачи есть! То ли мы еще выдумаем! Только дай бог, чтоб времена не переменились.

— Оно что ладно, то ладно. Но оборони бог, коли нагрянут, да спросят, чем, дескать, изволим промышлять.

— Сударь вы мой, Платон Астафьич, да разве вы забыли, что у нас на всяк прост случай подготовлены иные книги? Рыболовными устюжными промыслами занимаемся. Ась?

Последние слова, произнесенные почтенным человеком с сильным и резким ударением, совершенно успокоили Платона Астафьича. Он вспомнил, что он в самом деле занимается рыболовными устюжными промыс-

лами; что у него на этот предмет имеется три конторы: одна—в Сальянах,¹ другая, главная—в Астрахани, третья—в Саратове. Он вспомнил об этих крепких опорах и надеждах, помолодел двадцатью годами и спокойным голосом продолжал начатый разговор.

— Ну, Лев Силантыч, а как же нам быть-то с бакинским товарцем, — заговорил с расстановкою Платон Астафьич, зажигая свечу, чтоб сжечь поданную ему почтенным человеком бумагу, — придумайка-ка, Лев Силантыч, как нам быть-то. Ведь меня махонькая опасочка забирает крепко.

— Больше ничего не остается, батюшка мой Платон Астафьич, — отвечал почтенный человек, подбирая пепел сожженной бумаги и растирая его пальцем на ладони, — то ись, как есть, ничего не остается, послать Лаврушке писульку, чтобы дал таможенному-то десять тысяч...

— Ох, не много ли уж будет, любезнейший мой Лев Силантыч?

— Какое тут много, батюшка мой Платон Астафьич! Не довелось бы еще прибавить с пяточек тысяч.

— Ой-ли? Да это разорение!

— Этого не говорите, не гневите милость господню: тридцать тысяч приходится чистого барыша.

Платон Астафьич задумался. Потом, медленно поднимая голову, он сказал.

— И впрямь так; будь по твоему. Отпиши сей же час к Лаврушке, что мол отдай немедленно таможенному десять тысяч, только чтоб товар пропустил за границу; а коли мало, так, лукавый его задави, пусть отдаст и все пятнадцать,

— Ладно, отпишу. А как же нам быть с нашими ребятами? Прибавки жалованья просят; говорят, дескать, работа трудная, дескать не знаем ни днем, ни ночью покою, беспокоимся, дескать, много.

— Что же они теперь делают?

¹ Сальяны—город в Азербайджанской ССР, на р. Кура.

— Кузька поехал в Казань, Гераська — в Верхнеуральск, Осип вчера же должен въехать в Оренбург: там, говорят, много еще можно найти нашего товару. Я ему крепко отписывал, чтоб торопился разменивать; кстати, тут же напомнил ему об астраханской истории, дескать, говорю, рот не разевай, в Питере, мол, знают уж об этом, только, вестимо, не про нас, а про других. Гаврюшка с полгода живет в Олонце... Ах, сударь вы мой, Платон Астафьич! Вот там-то можно понагреть нам руки! Фунтами собирается, да зато как: сорок копеек фунт в покупке; два рубля восемь гривен в продаже. Вчера же я получил от него двадцать тысяч пудов.

— Вот этому молодцу надо прибавить жалованья, — заметил с участием купец Сестрицын, — эта разбитная голова умеет принести хозяину пользу.

— Терентий и Пахом живут покамест в Хиве. Не сладят, батюшка, с ханом, такой жидомор — больше двух рублей восьми гривен за фунт не дает. Тут бы и ближе и сподручнее, да не слишком прибыльно, почесь бросовое дело. Вот в Персии любо-дорого! Пять с полтиной за фунт стали принимать, да еще с великой благодарностью, дескать, только привозите побольше...

— Тише говори, Лев Силантьич, — прошипел змеею Платон Астафьич.

На несколько минут воцарилось молчание.

В это самое время, обманутая почтенным человеком, стряпуха стучалась в дверь. Разговор вдруг прерывался и заменялся поддельным, принужденным смехом, для постороннего человека весьма неприятным. Посмеявшись таким образом, почтенный человек с веселым видом, с разными шутками и прибаутками спешил отпирать двери.

А?.. Что, Маринушка, надул я тебя? — говорил почтенный человек, глядя рукою по белым и жирным плечам стряпухи. Ты спорила, что не надую — ась?

— Тебе, батюшка, сподручно меня надувать-то, — отвечала ничего неподозревающая Марина, — нашенское

дело стряпушечье, — иной раз и не пошла бы, а надить слушаться.

Тут в свою очередь выходил в прихожую сам — его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын.

— Что, Марина? Тебя все обманывают? — говорил он, вынося большую рюмку, наполненную пенником. — Он ведь у меня прокурат такой, Лев-то Силантьич. На-ко, выпей с досады да приготовь нам чего-нибудь закусить.

Невинная Марина живо исполняла приказание хозяина. Его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, и его конторщик, почтенный человек, садились за маленький стол и весело уписывали за обе щеки.

Таким-то образом шел и продолжался промысел, изобретенный и выдуманный бог знает кем и неизвестно в какие времена. Платон Астафьич узнал о существовании тайной торговли в то критическое время, когда она сделалась несколько гласною по всем берегам Волги. Знаменитая компания, основавшая эту торговлю, как-то вдруг поразладилась, разделилась и рассеялась по разным городам, чтобы в тиши и покое пожинать лавры прежних трудов. Слухи об этом чуде носились, однако, долго между промышленных людей. В один день эти слухи попали прямо в уши Платона Астафьича и попали-таки довольно ловко и метко. Сестрицын смекнул в чем дело. Он тотчас сообразил, что если труднее и опаснее путь, то легче и отраднее бывает отдых. „Ну, с богом, в дорожку, — подумал Платон Астафьич, — мне терять нечего — одна голова на белом свете. Попадусь — семь смертей не будет, а одной и так не миновать. Теперь все тихо, смирно, все напуганы — мне просторнее развернуться!..“

И развернулся Платон Сестрицын, так развернулся, что люди, которые знали его дела и подвиги, трепетали за него всем телом, часто не досыпали ночей и ощущали многие другие побочные неприятности. А Платону Астафьичу и горюшка не было.

В продолжение своей коммерции, его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, успел нажить три миллиона! — Легко сказать! Успел приобрести от многих дворян и купцов почет и уважение! — Тоже, кажется, легко сказать. Успел сделаться таусыровским (город, где постоянно жил Платон Астафьич) первой гильдии купцом, потомственным и почетным гражданином, — успел, и был счастлив. Да, счастлив был Платон Астафьич, господин Сестрицын, но не совсем, потому что полное и совершенное свое счастье он мог признать не иначе, как в то благополучное время, когда в его железном сундучке будет храниться пять миллионов рублевиков. Впрочем, вряд ли могло когда исполниться желание его высокостепенства, желание такое задушевное, но немножко бурное. Во-первых, Платон Астафьич был уже немолод, следовательно, не мог иметь большой надежды на долгую жизнь; во-вторых, товар, которым он имел удовольствие торговать, более и более распродавался, увозился безвозвратно за границу, а возрождаться вновь на Руси не мог; между тем сначала предшественники, потом и сам Платон Астафьич и его приказчики, так ловко обшарили все углы и закоулки отечественных городов, что огромный источник, видимо, начал иссякать, и скоро по всем местам должна была водвориться совершенная засуха. Платон Астафьич, конечно, все это предвидел, но надеялся: подобный торговец очень может надеяться. И самый товар, каким изволил торговать его высокостепенство (скажу читателю скромненько), был такого странного рода, что имелся в руках решительно у всех сословий. Скажите, как же в таком случае не иметь надежды? Без сомнения, нужно надеяться.

И вот жил Платон Астафьич и торговал. Конторщик его, почтенный человек, каждое утро, в первое число нового месяца, приходил к нему наверх, и все так же, как видел читатель, вынимал из-за голенища заветную бумагу... А вывеска, прилаженная у входа в контору, качаемая ветром, скрипела и напоминала проходящим, что его

высокостепенство, таусыровский первой гильдии купец, потомственный и почетный гражданин, Платон Астафьич Сестрицын, точно, занимается полезным промыслом.

Но не всегда был доволен, а тем менее спокоен, купец Платон Астафьич. Были в его жизни такие дни (а их было немало), в которые он был бледен, как полотно, трепетал и дрожал всем телом. Часто, приказав Марине завалить себя перинами и подушками, он в таком теплом положении находился по целым суткам.

Расскажу вам читатель, один случай из жизни Платона Астафьича, опишу вам день, который он отметил в своем поминаньи, что он почему-то „никуда не годится“, день, в который его высокостепенство перепугался больше нежели когда-нибудь.

В один какой-то серенький день, солнце светило так плохо, что все старики и старухи жестоко перезябли и отправились греться искусственным образом, по печкам. На дворе было очень дурно: дул маленький ветер, от которого происходил вой в трубах и звенели в окнах стекла. К вечеру ветерок начал утихать, но в двенадцать часов ночи он опять разыгрался. Беспокойная вывеска, прибитая над входом в контору, толкаемая ветром, сильно качалась туда и сюда, скрипела и издавала такие приятные тоны, под которые не мог бы подладить ни один знаменитый трубач или валторнист.

Пробужденный этою домашнею музыкой, его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, привстал на кровати и наострил свои уши. Слушал, слушал Платон Астафьич, да лег на спину; полежал он немножко на спине и повернулся на правый бок, потом на левый, потом опять на спину. Все плохо—никакое положение не могло его успокоить. Он сердито встал и послал свою Марину осведомиться, отчего, дескать, скрипит вывеска и не дает ему, Платону Астафьичу, покою. Это, дескать, глупо, потому что его высокостепенство хочет почивать, не вставать же, мол, ему спозаранку.

Марина вышла на двор и долго глядела на вывеску. Ночной холодный ветер прогнал ее со двора; она воротилась навверх с ясным и подробным донесением.

— Качается, батюшка Платон Астафьич! — сказала она и тут же хотела итти на свою постель.

Но таких основательных донесений Платону Астафьичу было весьма недостаточно.

— Что качается? — спросил он, садясь на кровать.

— Вывеска, — отвечала Марина.

— Экая неразумная! Я знаю, что вывеска; да я посы-
лал тебя посмотреть.

— Я смотрела.

— Ну, что смотрела?

— Вывеску.

— Да вывеска-то что?

— Качается.

— Экая дура! Ведь не о том тебя спрашивают, — спрашивают тебя вот о чем: отчего вывеска скрипит?

— Постой, батюшка, я пойду погляжу.

— Ну, поди.

Когда Марина вышла в другой раз, его высокостепенство Платон Астафьич Сестрицын стал прислушиваться к скрипу вывески.

„Проклятая! — шептал он, — как ты мне надоела! Только лень итти к тебе, а то ты тово“...

Впотьмах, не зажигая свечи, он пошел разбудить Марину, но его стряпухи в наличности не оказалось. Платон Астафьич стал думать: куда это делась стряпуха Марина? Уж и ей не приснился ли страшный сон? Не дала ли она тягу со страстей? Вдруг в голове его мелькнула утешительная мысль, вспомнил он, его высокостепенство, что в самую полночь он просыпался и куда-то посылал Марину по большой надобности.

Платон Астафьич вышел в чем был, то есть вышел довольно ненарядно, в переднюю, потом в сени и закричал довольно громко:

— Марина! Где ты там? Поди сюда.

- Я здесь, батюшка, — отозвался голос со двора.
— Что ты там делаешь?
— Смотрю на вывеску.
— Да что на нее смотреть-то? Ведь узоров на ней не написано.
— Скрипит.
— Что там у тебя скрипит?
— Вывеска...
— А!..

Теперь Платон Астафьич ясно припомнил, что он посылал Марину на двор по своим собственным надобностям.

На дворе рассвело. День был праздничный и в церквах благовестили к ранней обедне.

— Будет тебе глазеть-то, Марина, поди наверх, — сказал он, уходя в комнаты.

Марина повиновалась.

— Вот видишь ли, Маринушка, — сказал Платон Астафьич, понемногу и понемногу успокаиваясь, — вот видишь, касатка, какой ведь человек-то слабый бывает! Плохой человек бывает. Вот ведь оно что. Давича мне больно надоскучила вывеска, скрипит себе, да и только — все уши проскрипела!

— Ты, батюшка, затем и посылал меня на двор, — посмотри, дескать, что там такое.

— Теперь не надо ничего; теперь — белый день, теперь я не боюсь. „Ах! — подумал он про себя, глубоко вздохнув, — зачем это не сплошь белый день? Ночь-то не надо бы — что в ней толку? Тогда бы я ничего не боялся, не видал бы дрянных снов.“ — Ты, Маринушка, — прибавил он вслух, обращаясь к стряпуче, — поди-ка, возьми лестницу, да сала, да смажь вывеску, чтоб она не скрипела; не ходить же стать по ночам, ее смазывать-то только беспокойства себе наделаешь.

Спустя два часа, Платон Астафьич совершенно успокоился до нового и всеконечного для него беспокойства.

К самому началу обеда, к тому времени, когда его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, воссел своею персоною за стол и хотел было кушать коровий язык со сметаною и хреном, в самое это время, говорю я, он чуть-чуть не откусил свой собственный язык, потому что к нему в комнату, и прямо к столу, подбежал его конторщик, почтенный человек, бледный, растрепанный и крайне встревоженный.

— Беда, сударь мой! — начал говорить почтенный человек таинственным голосом, — пропали! Мы, сударь, вконец пропали!

Его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын, выскочил из-за стола и, схватив почтенного человека за обе руки отвел в угол.

— Что-о! Что такое приключилось? — спросил он, бледнея.

Почтенный человек запер сначала дверь, потом воротился и начал рапортовать о необыкновенном происшествии.

— Вдулись, влопались, сударь вы мой! — заговорил почтенный человек с интонацией, ему одному только свойственной, — как вдулись-то!

— Ох, батюшки, как же это? Когда? — спрашивал полумертвым голосом Платон Астафьич. — Кто это сумничал?

— Приказчик Пахомка попался.

— Ах, боже ты мой, милостивый. Что я буду теперь делать-то? Куда денусь? Вот напасти-то пришли. Суд, чаю, уж едет, закуют, свяжут! — Платон Астафьич забыл, что почетных граждан не вяжут. — Ох! Сейчас умру, протянусь без покаяния...

— Нет, суд еще не едет, — отозвался почтенный человек успокаивающим голосом.

— Ой-ли? Ну, слава богу. Да как же это угораздило Пахомку-то попасться? Расскажи-ка, брат, Лев Силантыч.

— Рассказывать не долго приведется, батюшка Платон Астафьич, — продолжал говорить почтенный человек. — Пойдите, дайте сперва отдохнуть.

— На-ка, выпей домашней бражки.

Платон Астафьич трепетною рукою подал почтенному человеку огромный стакан браги. Почтенный человек, более от испугу, нежели от жажды, выпил брагу с одного почерка.

— Ты меня, друг Лев Силантьич, не пугай, христа ради,—чуть слышно проговорил купец Сестрицын,— ты видишь, меня бьет лихоманка.

Настало молчание.

В комнате, где находились его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын и его наперсник—почтенный человек, было тихо, как в глухой степи; только было слышно, как по временам Платон Астафьич стонал, а почтенный человек тяжело дышал.

— Рассказывай же, ради бога, заговорил Платон Астафьич, теряя свое крепкое терпение,—только не сразу огорчай-то меня, Лев Силантьич, ты знаешь, я человек-то хворый, не умори, сделай милость—не перенесу.

На счет хворости Платона Астафьича, конторщик поусомнился, однако, исполняя желание хозяина, он осторожно начал вести свой рассказ.

— Видно делать нечего!—отвечал с глубоким вздохом почтенный человек,—привелось, видно, пить нам горькую.

— Не говори про горечь, Лев Силантьич,—с неудовольствием перебил Платон Астафьич.—Зачем накликать на себя всякую негодность?

— Как ни крепись, а надо все высказать,—говорил на ту же тему почтенный человек.

Его высокостепенство не выдержал.

— Не сразу же!—завопил он умоляющим голосом.

— Знаю, сударь вы мой, не напоминайте.

— Ну, говори...

— Ну вот слушайте. Пахомка, вам ведомо, батюшка вы мой, отправился с товарцем в Астрахань...

— Постой, постой... дай вздохнуть... Ну, говори.

— В Астрахани-то он, сударь вы мой, пониже города в девяти верстах...

— Постой... Ну, говори!

— В девяти верстах он начал выгружать все шестьдесят подвод на асламку...

— Постой... Ну, говори.

— Выгружал он по ночам... Хозяин-то асламки вышел паскудник...

— Постой, голубчик, ох! Постой... Ну, говори.

— Нашему-то Пахомке хорошенько бы надо задобрить хозяина, надо бы ему угощение хорошее поставить, а он, мошенник, вздумал натягивать да собирать копейки...

— Ах, он... да я его задеру!.. Постой на минуту... Ну-ну, говори, говори.

— Там они на месте, где была выгрузка, жили так себе, ладненько, не вздорили; только вот Пахомка стал примечать, что хозяин судна учал выглядывать из-под лобья...

— Ну-ну-ну, скорее!

— „Замышляет, видно, что-нибудь недоброе“, — подумал Пахомка, и стал чествовать его всякими угощениями. Смотрит: хозяин судна переменялся, сделался лисой, такой масляный, добрый стал. Через три дня надо было ехать. Хозяин все такой же, хороший человек. Пахом подумал, что ничего зрящего не случится, велел отваливать...

— Ну-ну ну!..

— Стали вынимать якорь, сперва вынули становой, да уж хотели было тащить и подольный: на двух якорях стояла асламка-то. А хозяин говорит Пахому: „Постойте, мол, мне надо съездить в город за женой; без жены, дескать, водой ехать скучно“. Пахом поверил. Спустили лодку, хозяин сел, да с ним село три бурлака, да и поехали...

— Ну, говори, говори.

— Ну, вот, говорю... На чем бишь я остановился-то, батюшка Платон Астафьич?

— Остановился?.. Постой, дай бог память... Поехали..

— Точно, пѣехали. Отѣехали они несколько сажень, хозяин кричит Пахому: „Вели отваливать! Ветер попутный, я догоню опосле“. Пахом подумал: вестимо, что догонит, лодочка на ходу легкая, а судно на ходу тяжело. И поехали...

— Ну, скорее, скорее!..

— Приехали на Бирючью Косу. Ветер начал крепчать и паруса стало облобачивать. Ехать нельзя; кинули становой якорь. На другой день ветер поднялся сильный. Судно стоит; работники спят; Пахом прохаживается по палубе. А хозяина не видно...

— Ну-ну-ну! Хозяина не видно...

— Хозяина не видно, а Пахом прохаживается по палубе. Ходил он, ходил, да и остановился, стал смотреть в даль. Смотрел он долго; ветер утихал, и валы гуляли поменьше, солнышко вылезло на небо. Пахом смотрит и видит, что-то там далеко чернеется. Да что чернеется? Хозяин асламки, чай, едет с женою. Пахом перестал смотреть и пошел шлаться по палубе. Вот он начал ходить, а сердце у него так и заныло...

— Постой, Лев Силантьич, дай отдохнуть... Ну, теперь говори.

— „Ноет сердце,—думает Пахом,—не к добру же ноет“.

— Ой-ой, постой, постой... Ну, говори.

— Правду, сударь вы мой Платон Астафьич, говорят, сердце—вещун. Как заныло у Пахома сердце, а он тут же и подумал: „Дай, дескать, возьму подзорную трубу, погляжу, не хозяин ли едет с дурными мыслями“. Глядит и видит: лодка катит на восьми парах, калмыки сидят на веслах и гребут что есть силы. На корме сидит хозяин асламки; посредине много народу, с красными воротниками, с ружьями, с саблями.

— Ай, батюшка! Ай-ай! Погоди крошечку, Лев Силантьич, уморишь... Говори потихоньку...

— Пахом задрожал; нашли на него такие страсти... Сибирь залезла в голову...

— Ай-ай! Караул! Сибирь... Умру сейчас без покаяния, протянусь, как собака... Постой, не говори ничего, Лев Силантьич... Нет, лучше говори, говори...

— Тут некогда было долго раздумывать, а думать и подавно; Пахом захотел сразу выпутаться из беды...

— Ай да Пахомушка! Ай да родной мой! Молодец! Озолочу его, награжу, во всю мою жизнь не забуду! Жаль, что нет у меня детей, дочь отдал бы за него, родного; приданое, какое душеньке его угодно... Ну, говори, говори.

— Лодка была далеко-раздалеко, без трубы не видно; а и с лодки-то, чай, асламки не видать. Пахом догадался, как лучше сделать. Работники, почесь, все спали. Пахом взял большой бурав, тихонько влез в трюм, духом повертел дыр восемь, а вода-то так и хлынула. Пахом выскочил на палубу и стал кричать что было в голове голосу: „Ребята! Спасайтесь, тонем“. Все загомосились, бросились на лодки и отрубили причалы...

— Ах, боже милостивый! Что-то будет?.. Говори скорее.

— Было три лодки. Пахом сидел на третьей. Все работники были целы и засели на весла — валяй ребята! Наша взяла...

— Молодец, Пахомушка! Расцелую!.. Вот что, Лев Силантьич, нет-ли, друг, у тебя взрослой дочери? Мы отдали бы ее за Пахома замуж...

— Погодите, сударь вы мой, Платон Астафьич, не перебивайте. Подняли паруса. Догоняй! Шишь возьмут! Отъехали полверсты, смотрят, а асламка-то, голубушка, как ключ, так и пошла ко дну...

— Ах он мошенник! — закричал громовым голосом Платон Астафьич, — ах он вор негодный! Разбойник, Пахомка! Разорил меня! Ободрал... Вот-те и раз, вот-те и пяточки мои милые! Вот-те и десятикопеечники любезные! А мешки-то? Сам ведь я шил мешки-то, — он то взял бы в толк, мошенник. Ох, разорили, обанкрутили, по миру пустили! Эх, кабы теперь попался этот вор

Пахомка! В Хиву его упрячу; сам не поленюсь, отвезу, скажу хану, чтоб в яму его, мошенника, зэпрятали. Пусть клещи заедят до смерти! Сейчас разорвал бы на мелкие части, загрыз бы зубами!.. Разорил! На-ко, топить судно с чужим товаром! Али он не мог по-другому сладиться? Разорил!..

В иступлении, в бешенстве рвал на себе волосы его высокостепенство, Платон Астафьич Сестрицын. Почтенный человек, глядя на своего беснующегося хозяина, крайне испугался и пришел в немалую робость. Он побоялся, как бы вместо Пахома, он сам не попался на зубы купца Сестрицына; по этой весьма уважительной причине, отошедши тихонько в другой угол комнаты, почтенный человек продолжал говорить тихим голосом:

— Да что так много вам беспокоиться-то, батюшка Платон Астафьич? С кем не случается горя? Все мы под богом ходим. Вы должны радоваться, должны денно и ночью благодарить бога, что Пахомка умный малый—догадался потопить судно; ведь Сибирь бы вам была, сударь, еслиб застали.

При слове Сибирь, Платон Астафьич вздрогнул и успокоился. Кажется словцо это невелико, но на натуру Платона Астафьича оно имело успокаивающее свойство. Почтенный человек продолжал:

— Вы тужите о товаре, сударь вы мой, а не тужите о том, что Пахомка осердится на что-нибудь, да докажет...

— Ой-ли? Как докажет?—перебил Платон Астафьич. Что он знает? Какую ромоду смыслит?

— Он знает все, а опричь того место, где потоплено судно.

— Да теперь его не вытащишь...

— Начальство вытащит.

— Ах, батюшка, как же нам быть-то? Ты уж меня поучи, Лев Силантыч. Я теперь сам не свой; у меня головушка идет кругом. Пожалей...

— Нам потребно взять все предосторожности. Вывеска

пусть висит; контору закрывать не нужно: там свои дела рыболовные—устюжные промыслы. Плоховата эта торговлишка-то, да ничего: все-таки торговля позволительная. А вот секретные-то книги надо все пожечь — пес с ними!

Лицо Платона Астафьича сделалось подобно муке. Он застонал и спросил прерывающимся голосом:

— Как же я буду учитывать-то приход с расходом?

Этот вопрос затруднил почтенного человека. Он бросил на своего хозяина такой взгляд, как-будто хотел залезть к нему в душу. Платон Астафьич повторил свой вопрос:

— Как я буду учитывать-то служащих?

— Да, ваша правда,—отвечал конторщик скороговоркою,— об этом казусе надо подумать. Тайные наши вещи, поколь, до греха, надо припрятать в тепленькое местечко. Да вот что еще, батюшка Платон Астафьич, в анбаре у вас осталось двести мешков с сибирскими пятаками. Не знаю,—куда деть этих толстячков?

— Нищим раздать,—заметил лаконически его высокостепенство.

И на лице Платона Астафьича от таких легких слов показалось величайшее добродушие. Почтенный человек не столько был добр и нежен; он сделал на словах хозяина коротенькое опровержение в таком человеколюбивом тоне:

— Где же столько наберешь нищих? Пес с ними! Не отдавать же десятерым или пятнадцати человекам такое богатство! Жирно слишком сожрут — облопаются; лучше в колодезь бросить...

В чей же колодезь?

— В ваш, он глубокий.

— Что ты это говоришь, Лев Силантьич! А коли что случится, так у меня же все и найдут.

— Постойте на часик, батюшка Платон Астафьич, ведь и я, грешный, с вами с толку сбился; позабыл ведь я окаянный, что у нас есть два темненьких местеч-

ка: одно—в Мячевом, другое — в Баранниковом бараке. Там о с ю пору хранится немного нашего то-вару.

— Ах, ты пропасть! И впрямь так. Туда, туда все на-до припрятать, Лев Силантыч, там не скоро сыщут. Кто пойдет к старухам? Молятся они, скажут: что их во грех вводить? В Мячев-то я думаю, лучше будет? Авдотья — баба богомольная: на нее никто не подозре-тит.

— Ваши речи справедливы.

— И в Баранниковом-то тихо-скромно; но я что-то не люблю Аксинью, — волком каким-то смотрит.

— Она и мне, батюшка, не по нраву приходится, — за-метил почтенный человек с особенным чувством само-любия.

— Так без дальних хлопот отправь все, что нужно, к Авдотье, в Мячев барак.

— Ладно, батюшка, отправлю.

— Контору-то нам не сделать ли другую, секретную, там же?

— Погодите, батюшка Платон Астафич, дайте хоть пройти-то страстям.

— Правда, правда твоя. А опричь того, ты нонче же вели ночком, этак, свезти с моего двора все, чтоб не было никаких признаков.

— Постараемся! Уж будьте покойны. Не первый раз...

— Послужи, Лев Силантыч, голубчик, беру тебя в половину...

ПРИЛОЖЕНИЯ

М. А. ВОРОНОВ

Кр. биографические сведения

Михаил Алексеевич Воронов родился 5 сентября 1840 г. в Саратове, окончил местную гимназию; затем учится два года на медицинском факультете Казанского университета, откуда переходит на юридический ф-т Московского ун-та, который также не кончает. В 60-х гг. работает секретарем в „Современнике“ у Чернышевского. В это же время печатается в тогдашних лучших журналах („Времени“, „Русском слове“, „Библиотеке для чтения“, „Эпохе“, „Деле“). Нужда, голодовки, склонность к алкоголю подорвали его здоровье и свели преждевременно в могилу. Он умер 19 января 1873 г.

Источники: С. А. Соколов.—Саратовцы писатели и ученые. „Труды Саратовск. уч. архивной комиссии.“ В. 30, стр. 321; К. Чуковский.—М. А. Воронов. „Шестидесятники“. Избранные произведения: ГИХЛ. М.—Л. 1933 г., стр. 220—221.

С. А. МАКАШИН

Кр. биографические сведения

Семен Акимович Макашин родился 9 апреля 1827 г. в деревне Зеленовке, Сердобского у., Саратовской губ. в семье смотрителя казенных питейных сборов. После многих лет скитальческой жизни отца, он возвращается с ним в Саратов в 1838 г. и поступает (он был еще мальчиком) писцом в мещанскую управу, где получает место письмоводителя и его отец. Через три года „по самодурству городского головы“ их уволили. После

этого молодой Макашин был несколько лет в Балакове сидельцем в кабаке. В 1843 г. он вновь перебирается в Саратов на должность канцеляриста в городскую управу. Через некоторое время Семен Акимович знакомится с А. С. Флеровым, берет у него сочинения Пушкина, Гоголя и других классиков, делает первые попытки писать стихи. Можно предполагать, что на Макашина обратил внимание тот литературный кружок, в центре которого стояла тогда известная писательница М. С. Жукова, жившая в Саратове.

Большую поддержку Макашину на литературном поприще, несомненно, оказал и Чернышевский, также сильно повлиявший на него и в идейном отношении. В письме к последнему Макашин писал: „Одно меня поставило в несколько затруднительное положение: это ваше несогласие, чтобы я поместил ваше имя в моей автобиографии. По крайней мере, позвольте сказать хотя так: „у Н. Г. Чского я бывал много раз и всегда был принят радушно, обласкан. Этому благороднейшему человеку я обязан многими, многими приятными минутами в моей жизни“. Это было написано 3 июня 1861 г., когда Макашин уже жил в Москве, где он женился на воспитаннице генерала Слатковского. Из письма самого Чернышевского к отцу, посланного в Саратов еще в 1859 г., выясняется, что Макашин весной этого года приезжал в Петербург, но не по собственному желанию, а „отданный в солдаты по вражде бывшего головы Масленникова“. „Он хлопочет об отставке за болезнью, — прибавлял Чернышевский. — Вероятно, это дело устроится“. Из Москвы Макашин перебрался в Петербург, где прожил недолго, вращаясь среди сотрудников „Современника“ (впрочем, может быть, биограф Макашина ошибается, т. е. пребывание Семена Акимовича в Петербурге 1859 г., он (биограф,) не имея верных сведений, относит и к периоду между 1861—1863 гг.) Умер Макашин в Саратове 12 авг. 1862 г., вскоре после ареста Чернышевского. „Автобиография“ его так и осталась недопечатанной в „Русской речи“, а „Жизне-

описание городского головы" появилось в „Современнике“ уже после его смерти, в 1863 г.

Источники: С. Д. Соколов — Саратовцы писатели и ученые „Труды Саратов. уч. архивной комиссии“. В. 33, стр. 183—184; Н. Г. Чернышевский. — Литературное наследие. Т. II. Письма. ГИЗ. 1928., стр. 283, т. III. Письма. ГИЗ., стр. 662—663.

ПИСЬМА С. А. МАКАШИНА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ ¹

Милостивый государь Николай Гаврилович.

Письмо Ваше и 75 руб. серебр. я получил от А. Н. Плещеева. От всего сердца благодарю Вас за Ваши обо мне хлопоты. Одно меня поставило в несколько затруднительное положение: это Ваше несогласие, чтобы я поместил Ваше имя в моей автобиографии. По крайней мере, позвольте сказать хотя так: „у Н. Г. Ч-ского я бывал много раз и всегда был принят радушно, обласкан. Этому благороднейшему человеку я обязан многими, многими приятными минутами в моей жизни“. Вот и все. Неужели Вы и этого не позволите? Конечно, по всей справедливости, мне следовало бы сказать много. Разве Вы не имели на меня никакого влияния, не говоря уже о добре, которое Вы для меня сделали? Я думаю совершенно противное, и, признаюсь Вам откровенно, что и тогда, когда я Вас не знал лично, я чувствовал силу Вашего ума. Распространяться не нужно: Вы догадаетесь о чем я говорю. И что такое будет моя автобиография, когда я из нее выпущу имена истинно-добрых, образованных и благородно мыслящих людей. Вы сами согласитесь, Николай Гаврилович, что это будет не моя автобиография, а что-то вроде печатно-публичного доноса (к которым я постоянно чувствовал и чувствую омерзение). Ведь там останутся имена одних негодяев и мошен-

¹ Письма Макашина хранятся в Доме-музее Чернышевского (инв. №№ 1378, 1378-3). Первое опубликовано в III томе „Литературного наследия“ Чернышевского. (ГИЗ, 1930, стр. 662—663); второе печатается впервые.

ников. Я только у Вас, Николай Гаврилович, просил позволения и еще раз прошу хоть так сделать, как я сказал выше; у других же, к кому я чувствовал почтение и уважение, я не просил позволения: я их вписал так, без спросу.

Здесь кстати скажу, что редакция „Русской речи“ из моей автобиографии выпускает много страниц, которых выпускать вовсе не нужно. Да бог с ними.

На это письмо прошу коротенького ответа, известите, сделайте одолжение, когда будет напечатан пролог к Мещанской свадьбе.

Мне очень, очень хочется иметь „Современник“ за настоящий год. Если есть лишние экземпляры — одолжите, если уж нет, то хоть вышлите на имя А. Н. Плещеева ту книжку, в которой будет напечатана Мещанская свадьба. Еще раз душевно благодарю Вас за Ваши обо мне хлопоты.

Москва, 3 июня 1861 г. Семен Макашин.

II

Милостивый государь Николай Гаврилович.

Мне думается, что Вы или не получаете моих писем, или имеете на меня какое-нибудь неудовольствие, потому что после получения от Вас 75 руб. я писал Вам два письма, и до сих пор не получил на них ни одной строки. Письма были адресованы в Вашу квартиру; теперь я пишу на адрес в редакцию „Современника“.

Будьте так добры, Николай Гаврилович, не откажите ответить на это письмо несколькими строчками.

Дело мое такого рода.

Нельзя ли мне перенести печатание моей автобиографии в „Современник?“ В настоящее время ее напечатана только половина, из которой третья часть выкинута — и что всего досаднее, выкинуты те места, в которых я говорю об откупных плутнях; много выкинуто также и других мест. Посоветуйте, что мне делать? Равным

образом, покорнейше Вас прошу, известите меня, в какой книжке „Современника“ напечатается мой пролог к Мещанской свадьбе, и могу ли я рассчитывать на получение „Современника“. Каюсь, что мне нестерпимо хочется получить „Современник“, так хочется, что и сказать, Вам не умею. Я живу в столице, в центре просвещения, а читать все таки нечего: те особы, которые ко мне расположены искренно и от которых я мог бы получить книги, разъехались по дачам, и я их не вижу — только что изредка с ними переписываюсь. Скучно и грустно и немножко досадно!.. „Моск. курьер“ прекратился, „Наше время“ чуть-чуть держится. Придет зима скоро — и меня заранее прохватывает морозом. Что я буду делать без места? В настоящее время меня кормит жена моя, которая на комитетские деньги купила ситцу и кисеи и торгует по домам: приходится иногда 20—25—30 к. в день сер., а иногда ничего. В Петербурге, по крайней мере, много журналов и газет, там нельзя дойти до нищенства, а в Москве — плохо, очень плохо! Представьте: я одним книгопродавцам продавал право на издание моих печатных уже статей числом шесть за 10 руб. сер. печатный лист и никто не купил! Был даже у знаменитого Солдатенкова — без толку, конечно. Вот как!

Если Вы осчастливите меня присылкою „Современника“, то по старому адресу — на имя А. Н. Плещеева — (истинно для меня добрейшего человека). С нетерпением жду Вашего ответа — и скажите хотя в двух словах Ваше мнение о моей автобиографии.

Желаю Вам от всей души здоровья и счастья, глубоко Вас уважающий Семен Макашин.

Москва, 8 июля 1861 г.

СЛОВАРЬ

Аматер (фр.) — любитель, охотник до чего-нибудь.

Амвон (греч.) — возвышение в церкви перед „Царскими вратами“ алтаря.

Анхорет (греч.) — отшельник, пустынник, живущий в уединении.

Аслачка, осламка — грузовое, преимущественно рыбопромышленное, килевое судно.

Ассигнации — бумажно-денежные знаки, выпущенные в 1769 г. Благодаря дальнейшему чрезмерному выпуску они постепенно обесценивались все больше и больше. В 1818—23 гг., когда за 1 р. серебром давали 3 р 84 к. ассигнациями, делаются попытки поднять их курс, а в 1839—40 гг. ассигнации извлекаются из обращения и заменяются кредитными билетами.

Базис (греч.) — основание; линия или плоскость, на которой лежит фигура или тело.

Баталия (лат.) — сражение, битва, бой; драка (шутл.).

Бахус — бог вина в античной мифологии; служить Бахусу — быть пьяницей.

Буерак — сухой овраг.

Иероглифы или иероглифы — знаки древнеегипетского письма. Здесь употреблено в смысле — неразборчивое письмо.

Гильдии (нем.) — разряды, на которые делилось купечество, платившее пошлины, соответствовавшие величине их оборотов.

Дезабилье (фр.) — буквально — раздетый, в общепитии — небрежная домашняя одежда (обычно у женщин).

Демидовская премия — денежная премия, выдававшаяся Академией наук за лучшее сочинение на русском языке и носившая имя ее жертвователя М. П. Демидова.

Драница, дрань — расщепленные сосновые и еловые дощечки.

Духарючка — ласкательная форма имени Евдокия.

Ектения (греч.) — буквально — усердие, молитва православного богослужения.

Жерновки раковые — круглые камешки из рака. Это знахарское средство высмеивает Чернышевский (саратовец) в своей статье „Суеверие и правила логики“.

Захрулить — незаконно задержать, поймать; от слова хрулек — козвон с отшибленной пяткой.

Зенки — глаза, очи.

Каллиграфия (греч.) — искусство красивого письма.

Камора — камера (присутственное место, дума, суд и т. д.).
Канканировать — танцевать канкан, французский эстрадный танец с скромными телодвижениями.

Кантонисты — солдатские сыновья в эпоху крепостничества, с самого рождения составлявшие собственность военного ведомства. Они готовились к военной службе в школах, в которых царил жестокая палочная муштра.

Капитель — верхняя, орнаментированная часть колонны.

Книксен (нем.) — почтительный поклон с приседанием.

Козон, козны (бабки) — надкопытный сустав ноги у животных; часть этого сустава употребляется для игры.

Колонка — колония, население иноземцев, переселенцев из другой земли.

Колотовка — злая, вздорная баба.

Конфирмация — судебное решение, приговор, утвержденный властью и самая сущность его.

Кордегардия — гауптвахта, помещение, где содержатся арестованные военнослужащие.

Коран (арабск.) — священная книга мусульман.

Косушка — четверть штофа или полбутылки.

Козолка — чугун, обод, вмазанный в печь, в который вставляется вьюшка.

Куратор — опекун, попечитель.

Кутейник — прозвище церковников, семинаристов; от кутья (каша, подаваемая за поминальным столом).

Летаргия (греч.) — состояние спячки, наступающее самопроизвольно. Наблюдается обычно при истерии.

Либетес — лентяй.

Лубочная дощечка — обделанная липовая кора для катки яиц (пасхальная игра).

Марсомания — чрезмерное увлечение войной. Марс — бог войны в античной мифологии.

Меланхолик (греч.) — древнее обозначение одного из четырех типов темперамента. Отличительные черты меланхоликов: холодность, сужость, замкнутость и мрачность.

Ментор (лат) — учитель, неотступный надзиратель.

Мерлина — шкурка палой овцы.

Молокане — религиозная секта, понимающая таинства символически, отрицающая иконы, церковную иерархию и посты.

Мурза — татарский князек, наследственный старшина.

Одесную (древне-славянский) — по правую руку.

Откупа — предоставление правительством частным лицам (откупщикам) за определенное вознаграждение права взимания налогов с населения. Жестокость и вымогательства — неизменные спутники откупа. В крепостной России процветали откупа на водку.

Ошую (др.-слав.) — по левую руку.

Перепутина — нитка, которой переплетены другие нитки.

Пестре(я)дь, пестрединна — пеньковая грубая ткань.

Прокурат — проказник, плут, притворщик.

Путце — связь, привязь, завязка.

Рампа (франц.) — ряд небольших ламп для освещения сцены, расположенных на ее полу перед занавесом.

Регистр — книга для записи документов (правильнее — регистр).

Ромода — шум, возня.

Сангвиник — древнее обозначение одного из четырех типов темперамента. Отличительные черты сангвиника: живость, отсутствие глубины и силы.

Смич(ш)ник — две копейки серебром.

Садки — выпуск животных из неволи на охотничью травлю.

Сказка 8 ой ревизии — переписная ведомость переписи податного населения, произведенной в 1833 г.

Становой якорь — якорь, на котором стоит судно; подольный-продольный.

Статский советник — гражданский чин выше полковника, но ниже генерала соответств. чинов военной службы. Отец автора, желая поместить директору, называет его генералом.

Столец(ш)ник — скатерть.

Талер — широко распространенное название всех серебр. монет в Западной Европе, весивших более 15 гр.

Трешник, трояк — копейка серебром.

Триумвират — политическое соглашение между тремя лицами о разделе власти (в истории древнего Рима).

Унтер-ундер (нем.) — нижний, младший, первый воинский чин, после звания рядового. Квартал — отделение гор. полиции.

Фартпальный — кварталный (испорч. произнош.).

Флегматик (греч.) — древнее обозначение одного из четырех типов темперамента. Отличительные черты флегматика: медленная восприимчивость, слабая активность, терпеливость, хладнокровие.

Фриз — лепные украшения, расположенные полосой вокруг здания.

Хоррография (греч.) — искусство танцев.

Цейхгауз (нем.) — вещевой склад военной части.

Чупрун — хохол, вихор, оторщенный клок волос.

Шабар — сосед; в шабрах — по соседству.

Шаверень — шваль (ругань).

Штоф — мера питей, кружка, по 8 или по 10 на ведро.

Щепотники — крестьящиеся тремя пальцами, щепотью, т. е. православные; старообрядцы крестились двумя пальцами.

Эгиды — название щита, который носили некоторые древнегреческие божества; быть под эгидой — быть под чьим-нибудь покровительством или защитой.

СПРАВКА О ТЕКСТЕ

Произведения Воронова и Макашина воспроизводятся в нашем издании по текстам следующих журналов, где они были первоначально напечатаны:

Воронов, М. — Мое детство. „Время“, 1861, № 7, стр. 5—45, № 9, стр. 50—81.

Воронов. — Братья-разбойники. „Дело“, 1872, № 8, стр. 178—231.

Макашин, С. — Один из немногих и самый последний. „Русский вестник“, 1858, № 6, стр. 607—628.

Макашин, С. — Наследственная бедность. „Современник“, 1859, № 9, стр. 61—88.

Макашин, С. — Несколько подробное, но весьма правдивое жизнеописание одного городского головы. Там же, 1863, № 6, стр. 371—402.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Предисловие	3
Воронов, М. — Мое детство	11
„ Братья-разбойники	98
Макашин, С. — Наследственная бедность	157
„ Несколько подробное, но весьма правдивое жизнеописание одного городского головы	190
„ Один из немногих и самый последний	232
Приложения:	
М. А. Воронов. Краткие биографические сведения	259
С. А. Макашин. „ „ „	259
Письма С. А. Макашина к Н. Г. Чернышевскому	261
Словарь	264

Редактор изд-ва *И. Фомин*
 Технич. редактор *И. Лебедев*
 Корректор *Б. Дудоров*

Сдано в производство 10/III-1937 г. Подписано к печати 27/VII-37 г.
 Тираж 5000. Формат 70×108₃₂. Печатн. лист. 8³/₈. Бум. л. 4³/₁₆. У.-я. л.
 13. Знаков в п. л. 61760. Инд. X-2н. Изд. № 122. Зак. № 1540.
 Обллит № А/256. Цена 3 р. 90 к. Переплет 1 р. 10 к.

Типография Саратовского Облместпрома.

